

Виктория Токарева

Римские каникулы



И з д а т е л ь с т в о « А з б у к а »

Виктория Самойловна Токарева

Римские каникулы (сборник)

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11655301

Римские каникулы. Повести и рассказы: Азбука, Азбука-Антикус;

СПб.; 2015

ISBN 978-5-389-10395-5

Аннотация

«Когда у человека заболевает душа, надо поддержать ее духовным витамином. Внедрить в себя прекрасное и таким образом создать перевес добра над злом».

В. Токарева

Содержание

Повести	5
Первая попытка	5
Паша и Павлуша	66
Конец ознакомительного фрагмента.	96

Виктория Токарева

Римские каникулы.

Повести и рассказы

© Токарева В. С., 1993

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2015

Издательство АЗБУКА®

Повести

Первая попытка

Моя записная книжка перенаселена, как послевоенная коммуналка. Некоторые страницы вылетели. На букву «К» попала вода, размыла все буквы и цифры. Книжку пора переписать, а заодно провести ревизию прошлого: кого-то взять в дальнейшую жизнь, а кого-то захоронить в глубинах памяти и потом когда-нибудь найти в раскопках.

Я купила новую записную книжку и в один прекрасный день села переписывать. Записная книжка – это шифр жизни, закодированный в именах и телефонах. В буквах и цифрах.

Расставаться со старой книжкой жаль. Но надо. Потому что на этом настаивает ВРЕМЯ, которое вяжет свой сюжет.

Я открываю первую страницу. «А». Александрова Мара...

Полное ее имя было Марла. Люди за свои имена не отвечают. Они их получают. Ее беременная мамаша гуляла по зоопарку и вычитала «Марла» на клетке с тигрицей. Тигрица была молодая, гибкая, еще не замученная неволей. Ей шла странная непостижимая кличка Марла. Романтичная мамаша решила назвать так будущего ребенка. Если родится

мальчик, назовется Марлен. Но родилась девочка. Неудобное и неорганичное для русского слуха «Л» вылетело из имени в первые дни, и начиная с яслей она уже была Марой. Марлой Петровной осталась только в паспорте.

Папашу Петра убили на третьем году войны. Она с матерью жила тогда в эвакуации, в сибирской деревне. Из всей эвакуации запомнился большой бежевый зад лошади за окном. Это к матери на лошади приезжал милиционер, а она ему вышивала рубашку. Еще помнила рыжего врача, мать и ему тоже вышивала рубашку. Мара все время болела, не одним, так другим. Врач приходил и лечил. Мать склонялась над Марой и просила:

– Развяжи мне руки.

Мара не понимала, чего она хочет. Руки и так были развязаны и плавали по воздуху во все стороны.

Потом война кончилась. Мара и мама вернулись в Ленинград. Из того времени запомнились пленные немцы, они строили баню. Дети подходили к ним, молча смотрели. У немцев были человеческие лица. Люди как люди. Один, круглолицый в круглых очках, все время плакал. Мара принесла ему хлеба и банку крабов. Тогда, после войны, эти банки высились на прилавке, как пирамиды. Сейчас все исчезло. Куда? Может быть, крабы уползли к другим берегам? Но речь не про сейчас, а про тогда. Тогда Мара ходила в школу, пела в школьном хоре:

*Сталин – наша слава боевая,
Сталин – нашей юности полет,
С песнями, борясь и побеждая,
Наш народ за Сталиным идет.*

Мать была занята своей жизнью. Ей исполнилось тридцать лет. В этом возрасте женщине нужен муж, и не какой-нибудь, а любимый. Его нужно найти, а поиск – дело серьезное, забирающее человека целиком.

Мара была предоставлена сама себе. Однажды стояла в очереди за билетами в кино. Не хватило пяти копеек. Билет не дали. А кино уже начиналось. Мара бежала по улицам к дому и громко рыдала. Прохожие останавливались, потрясенные ее отчаянием.

Случались и радости. Так, однажды в пионерском лагере ее выбрали членом совета дружины. Она носила на рукаве нашивку: две полоски, а сверху звездочка. Большое начальство. У нее даже завелись свои подхалимы. Она впервые познала вкус власти. Слаще этого нет ничего.

Дома не переводились крысы. Мать отлавливала их в крысоловку, а потом топила в ведре с водой. Мара запомнила крысиные лапки с пятью промытыми розовыми пальчиками, на которых крыса карабкалась по клетке вверх, спасаясь от неумолимо подступавшей воды. У матери не хватало ума освободить дочь от этого зрелища.

Училась Мара на крепкое «три», но дружила исключительно с отличниками. Приближение к избранным кидало

ответ избранности и на нее. Так удовлетворялся ее комплекс власти. Но надо сказать, что и отличницы охотно дружили с Марой и даже устраивали друг другу сцены ревности за право владеть ее душой.

Весной пятьдесят третьего года Сталин умер. По радио с утра до вечера играли замечательную траурную музыку. Время было хорошее, потому что в школе почти не учились. Приходили и валяли дурака. Учителя плакали по-настоящему. Мара собралась в едином порыве с Риткой Носиковой поехать в Москву на похороны вождя, но мать не дала денег. И вообще не пустила. Мара помнит, как в день похорон они с Риткой Носиковой вбежали в трамвай. Люди в вагоне сидели подавленные, самоуглубленные, как будто собрались вокруг невидимого гроба. А Ритка и Мара ели соленый помидор и прыскали в кулак. Когда нельзя смеяться, всегда бывает особенно смешно.

Люди смотрели с мрачным недоумением и не понимали, как можно в такой день есть и смеяться. А девочки, в свою очередь, не понимали, как можно в столь сверкающий манящий весенний день быть такими усерзненными.

Время в этом возрасте тянется долго-долго, а проходит быстро. Мара росла, росла и выросла. И на вечере в Доме офицеров познакомилась с журналистом Женькой Смолиным. Он пригласил ее на вальс. Кружились по залу. Платье развевалось. Центробежная сила оттягивала их друг от друга, но они крепко держались молодыми руками и смотрели

глаза в глаза, не отрываясь. С ума можно было сойти.

В восемнадцать лет она вышла за него замуж.

Это был стремительный брак, брак-экспресс. Они распи-сались в загсе и тут же разругались, а потом продолжали ругаться утром, днем, вечером и ночью... Ругались постоянно, а потом с той же страстью мирились. Их жизнь состояла из ссор и объятий. Шла непрерывная борьба за власть. Мара оказалась беременной, непонятно от чего: от ссор или объятий. К пяти месяцам живот вырос, а потом вдруг стал как будто уменьшаться. Оказывается, существует такое патологическое течение беременности, когда плод, дожив до определенного срока, получает обратное развитие, уменьшается и погибает. Охраняя мать от заражения, природа известкует плод. Он рождается через девять месяцев от начала беременности, как бы в срок, но крошечный и мертвый и в собственном саркофаге. Чего только не бывает на свете. И надо же было, чтобы это случилось с Марой. Врачи стали искать причину, но Мара знала: это их любовь приняла обратное развитие и, не дозрев до конца, стала деградировать, пока не умерла.

После больницы Мара поехала на юг, чтобы войти в соленое упругое море, вымыть из себя прошлую жизнь, а потом лечь на берегу и закрыть глаза. И чтобы не трогали. И не надо ничего.

В этом состоянии к ней подошел и стал безмолвно служить тихий, бессловесный Дима Палатников, она называла

его Димычкой. Димычка хронически молчал, но все понимал, как собака. И как от собаки, от него веяло преданностью и теплом. Молчать можно по двум причинам: от большого ума и от беспросветной глупости. Мара пыталась разобратся в Димычкином случае. Иногда он что-то произносил: готовую мысль или наблюдение. Это вовсе не было глупостью, хотя можно было бы обойтись. Когда Димычке что-то не нравилось, он закрывал глаза: не вижу, не слышу. Видимо, это осталось у него с детства. Потом он их открывал, но от этого в лице ничего не менялось. Что с глазами, что без глаз. Они были невыразительные, никак не отражали работу ума. Такой вот – безглазый и бессловесный, он единственный из всех совпадал с ее издерганными нервами, поруганным телом, которое, как выяснилось, весь последний месяц служило могилой для ее собственного ребенка.

Мара и Димычка вместе вернулись в Ленинград. Димычка – человек традиционный. Раз погулял – надо жениться. Они поженились, вступили в кооператив и купили машину.

Димычка был врач: ухо, горло, нос, – что с него возьмешь. Основной материально несущей балкой явилась Мара. В ней открылся талант: она шила и брала за шитье большие деньги. Цена явно не соответствовала выпускаемой продукции и превосходила здравый смысл. Однако все строилось на добровольных началах: не хочешь, не плати. А если платишь – значит, дурак. Мара брала деньги за глупость.

Дураков во все времена хватает, деньги текли рекой, од-

нако непрестижно. Скажи кому-нибудь «портниха» – засмеют, да и донесут. Мара просила своих заказчиц не называть ее квартиры лифтерше, сидящей внизу, сверлящей всех входящих урочливым глазом. Заказчицы называли соседнюю, пятидесятую квартиру. А Мара сидела в сорок девятой, как подпольщица, строчила и вздрагивала от каждого звонка в дверь. В шестидесятые годы были модны космонавты. Их было мало, все на слуху, как кинозвезды. А портниха – что-то архаичное, несовременное, вроде чеховской белошвейки.

Сегодня, в конце восьмидесятых годов, многое изменилось. Космонавтов развелось – всех не упомнишь. А талантливый модельер гремит, как кинозвезда. На глазах меняется понятие престижа. Но это теперь, а тогда...

Устав вздрагивать и унижаться, а заодно скопив движимое и недвижимое, Мара забросила шитье и пошла работать на телевидение. Вот уж где человек обезличивается, как в метро. Однако на вопрос: «Чем вы занимаетесь?» – можно ответить: «Ассистент режиссера».

Это тебе не портниха. Одно слово «ассистент» чего стоит. Хотя ассистент на телевидении что-то вроде официанта: подай, принеси, поди вон.

В этот период жизни я познакомилась с Марой, именно тогда в моей записной книжке было воздвигнуто ее имя.

Познакомились мы под Ленинградом, в Комарово. Я и муж поехали отдыхать в Дом творчества по путевке ВТО. Был не сезон, что называется, – неактивный период. В до-

ме пустовали места, и ВТО продавало их нетворческим профессиям, в том числе и нам.

Мы с мужем побрели гулять. На расстоянии полукилометра от корпуса ко мне подошла молодая женщина в дорогой шубе до пят, выяснила, отдыхаем ли мы здесь и если да, то нельзя ли посмотреть номер, как он выглядит и стоит ли сюда заезжать. Мне не хотелось возвращаться, но сказать «нет» было невозможно, потому что на ней была дорогая шуба, а на мне синтетическое барахло и еще потому, что она давила. Как-то само собой разумелось, что я должна подчиниться. Я покорно сказала «пожалуйста» и повела незнакомку в свой триста пятнадцатый номер. Там она все оглядела, включая шкафы, открывая их бесцеремонно. Одновременно с этим представилась: ее зовут Мара, а мужа Димычка.

Димычка безмолвно переживал с никаким выражением, время от времени подавал голос:

– Мара, пошли...

Мы отправились гулять. Димычка ходил рядом, как бы ни при чем, но от него веяло покоем и порядком. Они гармонично смотрелись в паре, как в клоунском альянсе: комик и резонер. Димычка молчал, а Мара постоянно работала: парила, хохотала, блестя нарядными белыми зубами, золотисто-рыжими волосами, самоутверждалась, утверждала себя, свою шубу, свою суть, просто вырабатывала в космос бесполезную энергию. Я догадывалась: она пристала к нам на тропе из-за скуки. Ей было скучно с одним только Димычкой,

был нужен зритель. Этим зрителем в данный момент оказалась я – жалкая геологиня, живущая на зарплату, обычная, серийная, тринадцать на дюжину.

Вечером, после ужина, они уехали. Мара обещала мне сшить юбку, а взамен потребовала дружбу. Я согласилась. Была в ней какая-то магнетическая власть: не хочешь, не делай. Как семечки: противно, а оторваться не можешь.

Когда они уехали, я сказала:

– В гости звали.

– Это без меня, – коротко отрезал муж.

Мужа она отталкивала, а меня притягивала. В ней была та мера «пре» – превосходства, преступления каких-то норм, в плену которых я существовала, опутанная «неудобно» и «нельзя». Я была элементарна и пресна, как еврейская маца, которую хорошо есть с чем-то острым. Этим острым была для меня Мара.

Влекомая юбкой, обещанной дружбой и потребностью «пре», я созвонилась с Марой и поехала к ней в Ленинград.

Она открыла мне дверь. Я вздрогнула, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара была совершенно голая. Ее груди глядели безбожно, как купола без крестов. Я ждала, что она смутится, замечется в поисках халата, но Мара стояла спокойно и даже надменно, как в вечернем платье.

– Ты что это голая? – растерялась я.

– Ну и что, – удивилась Мара. – Тело. У тебя другое, что ли?

Я подумала, что в общих чертах то же самое. Смирилась. Шагнула в дом.

Мара пошла в глубь квартиры, унося в перспективу свой голый зад.

– Ты моешься? – догадалась я.

– Я принимаю воздушные ванны. Кожа должна дышать.

Мара принимала воздушные ванны, и то обстоятельство, что пришел посторонний человек, ничего не меняло.

Мара села за машинку и стала строчить мне юбку. Подбородок она подвязала жесткой тряпкой. Так подвязывают челюсть у покойников.

– А это зачем? – спросила я.

– Чтобы второй подбородок не набегал. Голова же вниз.

Мара за сорок минут справилась с работой, кинула мне юбку, назвала цену. Цена оказалась на десять рублей выше условленной. Так не делают. Мне стало стыдно за нее, я смутилась и мелко закивала головой – дескать, все в порядке. Расплатившись, я поняла, что на обратную дорогу хватит, а на белье в вагоне нет. Проводник, наверное, удивится.

– Молнию сама вошьешь, – сказала Мара. – У меня сейчас нет черной.

Значит, она взяла с меня лишнюю десятку за то, что не вшила молнию.

Сеанс воздушных ванн окончился. Мара сняла с лица тряпку, надела японский халат с драконами. Халат был из тончайшего шелка, серебристо-серый, перламутровый.

– Ты сама себе сшила? – поразилась я.

– Да ты что, это настоящее кимоно, – оскорбилась Мара. – Фирма.

Я поняла: шьет она другим, а на эти деньги покупает себе «фирму».

Освободив челюсть, Мара получила возможность есть и разговаривать. Она сварила кофе и стала рассказывать о своих соседях из пятидесятой квартиры – Саше и Соше. Саша – это Александр, а Соша – Софья. Соша – маленькая, бледненькая, обесцвеченная, как будто ее вытащили из перекиси водорода. Но что-то есть. Хочется задержаться глазами, всмотреться. А если начать всматриваться, то открываешь и открываешь... В неярких северных женщинах, как в северных цветах, гораздо больше прелести, чем в откровенно роскошных южных розах. Так ударит по глазам – стой и качайся. Долго не прстоишь. Надоест. А в незабудку всматриваешься, втягиваешься... Однако дело не в северных цветах и не в Соше. Дело в том, что Мара влюбилась в Сашу и ей требовалось кому-то рассказать, иначе душа перегружена, нечем дышать.

Этим «кем-то» Мара назначила меня. Я человек не опасный, из другого города, случайна, как шофер такси. Можно исповедоваться, потом выйти и забыть.

Вместо того чтобы вовремя попрощаться и уйти, я, как бобик, просидела до двух часов ночи. А родной муж в это время стоял на станции Комарово во мраке и холоде, встре-

чал поезда и не знал, что думать.

Ночь мы положили на выяснение отношений. День – на досыпание. Из отдыха вылетели сутки. И все из-за чего? Из-за Саши и Соши. А точнее, из-за Мары. Позднее я установила закономерность: где Мара – там для меня яма. Если она звонит, то в тот момент, когда я мою голову. Я бегу к телефону, объясняю, что не могу говорить, но почему-то разговариваю, шампунь течет в глаза, вода по спине, кончается тем, что я простужаюсь и болеваю. А если звонок раздается в нормальных условиях и я, завершив разговор с Марой, благополучно кладу трубку, то, отходя от аппарата, почему-то спотыкаюсь о телефонный шнур, падаю, разбиваю колено, а заодно и аппарат. Оказываюсь охромевшей и отрезанной от всего мира. Как будто Господь трясет пальцем перед моим носом и говорит: не связывайся.

Период в Комарово закончился тем, что мы с мужем вернулись в Москву на пыльных матрасах без простыней, зато с юбкой без молнии, с осадком ссоры и испорченного отдыха.

Мара осталась в Ленинграде. Работала на телевидении, подрабатывала дома на машинке. Вернее, наоборот. На швейной машинке она работала, а на телевидении подрабатывала. Но и дома, и на работе, днем и ночью, она бессленно думала о Саше. Димычка не старше Саши, но все равно старей. Он и в три года был пожилым человеком. В альбоме есть его фотокарточка: трехлетний, со свисающими щеками, важным выражением лица – как у зубного врача с солидной

практикой. А Саша и в сорок лет – трехлетний, беспомощный, как гений, все в нем кричит: люби меня... Какая счастливая Соша...

Димычка ни с того ни с сего ударился в знахарство, отставлял мочу в банках: новый метод лечения – помещать в организм его собственные отходы. Мару тошнило от аммиачных паров. А рядом за стенкой – такой чистый после бассейна, такой духовный после симфонии Калинникова, такой чужой, как инопланетянин... Все лучшее в жизни проходило мимо Мары. Ей оставались телевизионная мельтешня, капризные заказчицы и моча в трехлитровых банках.

Однажды Мара возвращалась домой. Ее подманила лифтерша, та самая, с урочливым глазом, и по большому секрету сообщила, что из пятидесятой квартиры жена ушла к другому. Этот другой приезжал днем на машине «жигули» желтого цвета, и они вынесли белье и одежду в тюках, а из мебели – кресло-качалку. Новый мужчина, в смысле хахаль, из себя симпатичный, черненький и с усами. Очень модный. На летних ботинках написаны буквы, такие же буквы на куртке.

– Может быть, он сам их пишет, – предположила Мара, чтобы отвлечь лифтершу от своего изменившегося лица.

Вечером после концерта в черном костюме с бабочкой пришел Саша и спросил: когда надо мыть картошку – до того, как почистить, или после. Мара сказала, что можно два раза – и до и после. Саша стоял и не уходил. Мара пригласила его пройти. Она сама поджарила ему картошку, а Саша

в это время сидел возле Димычки, и они оба молчали. Димычка вообще был неразговорчивым человеком, а Саше не хотелось ни с кем разговаривать и страшно было оставаться одному. Ему именно так и хотелось: с кем-то помолчать, и не с кем попало, а с живым, наполненным смыслом человеком.

Мара поджарила картошку в кипящем масле, как в ресторане. Мяса не было, она поджарила сыр сулугуни, обмакнув его предварительно в яйцо и муку. Накормила мужчин. Саша впервые в жизни ел горячий сыр. Он ел и плакал, но слезы не вытекали из глаз, а копились в сердце. Мара любила Сашу, поэтому ее сердце становилось тяжелым от Сашиных слез. Она молчала.

Это было в одиннадцать вечера. А в четыре утра Мара выскользнула из широкой супружеской постели от спящего и сопящего Димычки, сунула ноги в тапки, надела халат с драконами, вышла на лестничную площадку и позвонила Саше.

Тотчас раздались шаги – Саша не спал. Тотчас растворилась дверь – Саша не запирался. Он ждал Сошу. Он был уверен: она передумает и вернется. Ей нужна была встряска, чтобы все встало на свои места. И теперь все на местах. Соша вернулась и звонит в дверь. Он ее простил. Он не скажет ни одного слова упрека, а просто встанет на колени. Черт с ним, с двадцатым веком. Черт с ним, с мужским самолюбием. Самолюбие – это любить себя. А он любит ее. Сошу.

Саша открыл дверь. На пороге стояла Мара. Соседка. Чужая женщина, при этом глубоко ему несимпатичная. Саша

не переносил ее лица, как будто сделанного из мужского, ее категоричности. Не женщина, а фельдфебель. И ее смеха тоже не переносил. Она кудахтала, как курица, которая снесла яйцо и оповещала об этом всю окрестность.

Мара увидела, как по Сашиному лицу прошла стрелка всех его чувств: от бешеного счастья в сто градусов до недоумения, дальше вниз – до нуля и ниже нуля – до минуса. Маре стало все ясно.

– Ты извини, – виновато попросила она. – Но я испугалась. Мне показалось, что ты хочешь выкинуться из окна, чушь какая-то. Ты извини, конечно...

Человек думает о человеке. Не спит. Прибегает. Тревожится. Значит, не так уж он, Саша, одинок на этом свете. Пусть один человек. Пусть даже ни за чем не нужный. И то спасибо.

– Проходи, – пригласил Саша.

– Поздно уже, – слабо возразила Мара.

– Скорее рано, – уточнил Саша и пошел варить кофе.

Что еще делать с гостьей, явившейся в четыре утра.

Мара села за стол. Смотрела в Сашину спину и чувствовала себя виноватой. В чем? В том, что она его любит, а он ее нет. Она только что прочитала это на Сашином лице. Чем она хуже Соши, этой бесцветной моли, предательницы. Вот этим и хуже. Мужчин надо мучить, а не дребезжать перед ними хвостом. Мара прислушивалась к себе и не узнавала. В принципе она была замыслена и выполнена природой как

потребительница. Она готова была потратить все, что движется и не движется, затолкать в себя через все щели: глаза, уши, рот и так далее. А здесь, с этим человеком – наоборот, хотелось всем делиться: оторвать от себя последний кусок, снять последнюю рубашку. Так просто, задаром подарить душу и тело, только бы взял. Только бы пригодилось. Оказывается, в ней, в Маре, скопилось так много неизрасходованных слов, чувств, нежности, ума, энергии – намело целый плодородный слой. Упадет зерно в благодатную почву – и сразу, как в мультфильме, взрастет волшебный куст любви.

Первый муж Женька Смолин – тоже потребитель. Его главный вопрос был: «А почему я должен?» Он считал, что никому ничего не должен, все должны ему. А Мара считала, что все должны ей. Пошел эгоизм на эгоизм. Они ругались до крови, и в результате два гроба: души и плоти. На Димычке она отдыхала от прежней опустошительной войны. Но это была не любовь, а выживание. Самосохранение. А любовь – вот она. И вот она – вспаханная душа. Но сеятель Саша берег свои зерна для другого поля.

Маре стало зябко. Захотелось пожаловаться. Но кому? Жаловаться надо заинтересованному в тебе человеку. Например, матери. Но мать забыла, как страдала сама. Теперь у нее на все случаи жизни – насмешка. Димычка? Но что она ему скажет? Что любит соседа Сашу, а с ним живет из страха одиночества?

Мара поникла и перестала быть похожей на фельдфебеля.

Саша разлил кофе по чашкам. Сел рядом. Положил ей голову на плечо и сказал:

– Мара, у тебя есть хороший врач? Покажи меня врачу.

– А что с тобой?

– Я... ну, в общем, я... не мужчина.

– В каком смысле? – не поняла Мара.

– В прямом. От меня из-за этого Сонька ушла.

– А может быть, дело не в тебе, а в Соньке.

Мара кожей чувствовала людей. Она была убеждена, что сексуальная энергия, как и всякая другая, имеет свою плотность и свой радиус. От некоторых вообще ничего не исходит. От других, хоть скафандр надевай, не то облучишься. Сашу она чувствовала даже сквозь бетонные стены в своей квартире.

– При чем тут Сонька? – Саша поднял голову с ее плеча. – Ты, наверное, не понимаешь, о чем речь.

– Прекрасно понимаю. Идем. – Мара поднялась из-за стола.

– Куда? – не понял Саша.

– Я тебе докажу.

Саша подчинился. Пошел вслед за Марой. Они легли на широкую арабскую постель. Мара спорила с Сошей. Доказывала. И доказала. Она доказала Саше не только его мужскую состоятельность, но более того – гениальность. Принадлежность к касте избранных. Только биологические феномены могут так тонко и так мощно слышать жизнь, ее спрессован-

ную суть. Таких, как Саша, больше нет. Ну может быть, есть еще один, где-нибудь в Индии или в Китае. А в Советском Союзе точно нет. Во всяком случае, она, Мара, не слышала.

Саша улыбался блаженно, наполненный легкостью. Мара смотрела на него, приподнявшись на локте. Он был таким ЕЕ, будто вызрел в ней, она его родила, у них до сих пор общее кровообращение.

– Хочешь, я тебе расскажу, как я тебя люблю? – спросила Мара.

Он едва заметно кивнул. Для глубокого кивка не было сил. Мара долго подыскивала слова, но слова пришли самые простые, даже бедноватые.

– Ты хороший, – сказала она. – Ты лучше всех. Ты единственный.

Он нашел ее руку и поцеловал. Это была благодарность. Саша хотел спать, но было жалко тратить время на сон.

Они проговорили до шести утра.

Мара, как заправский психоаналитик, заставила Сашу вернуться в точку аварии, вспомнить, как все началось.

И Саша вспомнил. Два года назад они отдыхали с Сошей на море. Он пошел купаться в шторм и не мог выйти на берег. В какую-то минуту понял, что сейчас утонет возле берега.

Когда вернулся в номер, его качало. Он лег, закрыл глаза и видел перед собой мутно-зеленые пласты воды. У Соши было совсем другое состояние души и тела. Она тянулась к

мужу, но казалась ему волной. Хотелось из нее вынырнуть и выплюнуть. Соша обиделась и сказала неожиданно грубо:

– Импотент.

Саша попытался опровергнуть обвинение, но ничего не вышло. Вечером он вспомнил, что ничего не вышло, испугался, и уже страх, а не усталость помешал ему. Далее страх закрепился, как закрепляется страх у водителей, попавших в аварию. В мозгу что-то заклинило. Мозг посылал неверные сигналы, и случайно брошенное слово превратилось в диагноз.

Соша перестала верить в него. И он перестал верить в себя. Потом ему стало казаться, что это заметно. Все видят и хихикают в кулак.

Саша стал плохо играть свои партии в оркестре. Дирижер потерял к нему интерес. Надвигался конкурс. Саша понимал, что его переиграют. Соня ушла. Из оркестра – уйдут. Он – пустая, бессмысленная, бесполоая оболочка. Весь свет хохочет ему в спину. Казалось, еще немного, и он, как чеховский сумасшедший из палаты номер шесть, кинется бежать по городу или выбросится в окно. Этой ночью он вышел на балкон, смотрел вниз и уже видел себя летящим враскорячку, с отдуваемыми руками и ногами. А потом лежащим внизу нелепым плевком на асфальте. Саша испытывал к себе не жалость, а брезгливость. Он не любил себя ни живого, ни мертвого. А уж если сам себя не любишь, что требовать от других. И в этот момент раздался звонок в дверь, вошла

женщина, чужая жена, и сказала:

– Ты лучше всех. Ты единственный.

Он поцеловал ей руку. Как еще благодарить, когда тебе возвращают тебя. Иди живи. Ты лучше всех. Ты единственный.

Мара вернула Сашу в точку аварии. Устранила поломку в мозгу. И жизнь встала на все четыре колеса.

Утром Мара вернулась к спящему, ни о чем не подозревающему Димычке. А Саша спать не мог. Он начинал новую жизнь.

Вечером был концерт. Дирижер сказал, что Сашин си-бемоль сделал всю симфонию. Коллеги-оркестранты заметили, что из Сашиных глаз летят звезды, как во время первомайского салюта. Он помолодел, похорошел и попрекраснел. А Саша, в свою очередь, увидел, какие замечательные таланты вокруг него, одушевляющие железки и деревяшки. Ведь что такое тромбон и скрипка? Это железка и деревяшка. А когда человек вдыхает в них свою душу, они живые. И наоборот. Если в человеке погасить душу, он становится деревяшкой или железкой. Вот ведь как бывает.

Саша после концерта не шел, не брел, как прежде, а прорезал пространство. Он устремлялся домой. Дома его ждала Мара. Она открыла Сашу, как материк, и собиралась учредить на этом материке свое государство.

А Саша не смотрел далеко вперед. Он просто ликовал, утверждал себя. Утверждал и подтверждал.

Так продолжалось месяц.

Соша этот месяц вила новое гнездо с новым мужем Ираклием. Одно дело встречаться, другое – жить одним домом. Ираклий набивал дом гостями, это входило в национальные традиции, а Соша должна была безмолвно подавать на стол и убирать со стола. Это тоже входило в традиции: женщина должна знать свое место.

Ираклий работал в строительной науке, писал диссертацию на тему: «Ликвидация последствий атомного взрыва». Соше казалось, что после атомного взрыва уже НЕКОМУ будет ликвидировать последствия. Она ничего в этом не понимала, да и не хотела понимать. Кому охота в расцвете сил и красоты думать об атомном взрыве, и так по телевизору с утра и до вечера талдычат, жить страшно. А вот в Сашиной симфонической музыке Соша понимала все. За семь лет совместной жизни она научилась читать дирижерскую сетку, отличала главную партию от побочной, знала всех оркестрантов, слышала, как они вплетают свои голоса. Могла узнать с закрытыми глазами: это Фима... это Додик... это Андрей... А теперь все вместе, Фима, Додик и Андрей.

Хорошее было время.

Соша ностальгировала о прежней жизни, хотя была вполне счастлива с Ираклием. Она готовила ему хинкали вместо пельменей и в этот момент думала о том, что Саша – голодный и брошенный, тогда как Ираклий окружен гостями, хинкалями и Сошей. Она вздыхала и набирала Сашин но-

мер. А когда слышала его голос, опускала трубку. Что она ему скажет?

Саша понимал происхождение звонков, и, когда Мара тянула руку, он падал на телефон, как коршун с неба. Скрывал Мару. А однажды сказал озабоченно:

– Слушай, собери свои шпильки, брошки: сегодня Сонька придет.

– Зачем? – неприятно удивилась Мара.

– Хочет мне обед сготовить. Думает, что я голодный.

Мара собрала шпильки, брошки, отнесла их к Димычке. Она жила на два дома, благо до второго дома было, как до смерти, – четыре шага.

Димычка ни о чем не подозревал. Он был занят. К нему валил народ, поскольку в знахарей во все времена верили больше, чем во врачей. Ему было даже удобнее, когда Мара у соседей.

Сашу тоже устраивала такая жизнь: работа – как праздник, Мара – как праздник. Но самые большие праздники – Сошины появления. Она приходила в середине дня с виноватым лицом, тихо двигалась, перебирала ручками, варила, пылесосила. Хороший человек – Соша. Мара – сама страсть. Он ее желал. А любил Сошу. Оказывается, это не одно и то же. Кто-то умный сказал, что плоть – это конь. А дух – это всадник. И если слушать коня, он завезет в хлев. Слушать надо всадника.

Мара один раз унесла свои шпильки, другой. А в третий

раз – оставила на самом видном месте. Соша не заметила. Тогда Мара прямо позвонила к ней на работу в НИИ и назначила свидание в Таврическом саду. Соша удивилась, но пришла. Она заранее догадывалась о теме предстоящего разговора. Мара прилетит ангелом-хранителем семейного очага. Будет уговаривать вернуться к Саше. Она ведь не знает причины. А со стороны все выглядит так славно, почти идеально, как всегда бывает со стороны. Мара опаздывала. Соша тоскливо смотрела на дворец, который Потемкин построил, чтобы принять в нем Екатерину Вторую. А у Екатерины уже был другой. Потемкина она уже исчерпала. Почему Екатерине было можно? А ей, Соше, нельзя?

Она, конечно, не царица, но ведь ей дворцов не надо. Однокомнатная квартира в новостройке.

Появилась Мара и сказала с ходу:

– Больше к Саше не ходи. Ушла – и с концами.

– А твое какое дело? – удивилась Соша.

– Самое прямое. Он – мой.

Соша подвытаращила глаза.

– Да, мой, – подтвердила Мара. – И душой и телом. И нечего тебе у него делать. Обойдемся без твоих жлобских супчиков.

Димычка вычитал, что, когда коров забивают, они испытывают смертный ужас, этот ужас передается в кровь, через кровь – в мышцы. И человечество поголовно отравляется чужим ужасом... Отсюда агрессия, преступность, болезни,

раннее старение. Есть надо дары моря и лесов, а питаться разумными существами – все равно что поедать себе подобных.

Сошу поразили не жлобские супчики, а Сашино двурушничество. Двуликий Янус. Ну что ж. Зато теперь все ясно. Можно не угрызаться и не разрываться. Можно спокойно развестись и нормально расписаться. А Сашу отдать Маре.

– Вот тебе! – Соша протянула Маре изысканную фигу, сложенную из бледных породистых пальцев.

– Он мой! – повторила Мара, игнорируя фигу.

– Посмотрим...

В тот же вечер Соша вернулась к Саше, и лифтерша видела, как в грузовой лифт втаскивали кресло-качалку. Кресло кочевало вместе с Сошей.

И в тот же вечер Мара позвонила к ним в квартиру. Открыла Соша. Она была в переднике. Видимо, восточный человек приучил к круглосуточному трудолюбию.

– Я забыла у Саши малахитовое кольцо, – сказала Мара.

– Где? – спросила Соша.

– В кухне. А может, в спальне. – Мара пометила места своего обитания.

Соша не пригласила войти. Отошла. Потом вернулась.

– Кольца нет, – сказала она. – Ты у кого-то другого забыла.

Она закрыла дверь.

Кольцо действительно было дома, лежало в шкатулке, и Мара это знала. Просто она хотела бросить какой-нибудь ка-

мень в их семейную гладь. Но большого камня у нее не было – так, маленький малахитик овальной формы. Саша виноватым себя не считал. Он ее не звал. Она сама пришла в ночи. Он ее не соблазнял. Она сама уложила его рядом с собой. Он ничего не обещал. Она сама надеялась. Правда, она его любила. Так ведь она, а не он.

И все же, и все же...

Через неделю Саша вошел в раскрытый лифт. Там стояла Мара. Если бы знал, что она внутри, пошел бы пешком на шестнадцатый этаж. Поднимались вместе и молча. Саша старался смотреть мимо, а Мара смотрела в упор. Искала его глазами. Потом спросила, тоже в упор:

– Так бывает?

– Значит, бывает, – ответил Саша.

Вот и все.

Через полгода Соша вернулась к Ираклию. Мара не стала доискиваться причин. Она к Саше не вернулась. Да он и не звал. Он надеялся встретить женщину, которая соединит воедино плоть и дух, когда конь и всадник будут думать одинаково и двигаться в одном направлении.

Для Мары прекратился челночный образ жизни. Она осела, притихла возле Димычки, говорила всем, что ей очень хорошо. Что семья – это лаборатория на прочность, а ее дом – ее крепость. Лабораторию придумала сама, а крепость – англичане. Но иногда на ровном месте с Марой в ее крепости случались истерики, она кидала посуду в окно, и Димыч-

ка был в ужасе, поскольку чашки и тарелки могли упасть на чью-то голову. Он бежал к телефону и вызывал милицию. Мара панически боялась представителей власти и тут же приводила себя в порядок. Когда приходил милиционер, ему давали двадцать пять рублей, и они расставались ко взаимному удовольствию.

На фоне личных событий граждан протекала общественная жизнь страны.

К власти пришел Никита Сергеевич Хрущев и первым делом отменил Сталина. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей юности полет» оказался тираном и убийцей. Каково это было осознавать...

Мару, равно как и Ритку Носикову, это не касалось. Они были маленькие. Зато оттепель коснулась всем своим весенним дыханием. Напечатали «Один день Ивана Денисовича». Все прочитали и поняли: настали другие времена. Появился новый термин «диссидент» и производные от него: задиссидил, диссида махровая и т. д.

Никита Сергеевич был живой в отличие от прежнего каменного идола. Его можно было не бояться и даже дразнить «кукурузником». Кончилось все тем, что его сняли с работы. Это был первый и пока единственный глава государства, которого убрали при жизни и он умер своей смертью. Скульптор Эрнст Неизвестный, которого он разругал принародно, сочинил ему памятник, составленный из черного и белого. Света и тени. Трагедии и фарса.

После Хрущева началось время, которое сегодня историки определяют как «полоса застоя». Застой, возможно, наблюдался в политике и в экономике, но в Мариной жизни семидесятые годы – это активный период бури и натиска.

Мара встретила Мырзика. У него были имя, фамилия и занятие – ассистент оператора. Но она называла его Мырзик. Так и осталось.

Мырзик на десять лет моложе Мары. Познакомились на телевидении. Вместе вышли однажды с работы. Мара пожаловалась, что телевидение сжирает все время, не остается на личную жизнь.

– А сколько вам лет? – удивился Мырзик.

– Тридцать семь, – ответила Мара.

– Ну так какая личная жизнь в тридцать семь лет? – искренне удивился Мырзик. – Все. Поезд ушел, и рельсы разобрали.

Мара с удивлением посмотрела на этого командированного идиота, приехавшего из Москвы. А он, в свою очередь, рассматривал Мару своими детдомовскими глазами.

Впоследствии они оба отметили, что этот взгляд решил все.

Была ли это любовь с первого, вернее, со второго взгляда? Все сложнее и проще.

Кончилась ее жизнь на этаже, где Саша, где Димычка. Там она умерла. Оттуда надо было уходить. Куда угодно. Мара даже подумывала: найти стоящего еврея и уехать с ним за си-

ние моря, подальше от дома, от города. Но стоящего не подвернулось. Подвернулся Мырзик. Мара видела, что он молод для нее, жидковат, вообще – Мырзик. Но надо было кончать со старой жизнью.

Когда Мара объявила Димычке о своей любви, Димычка не понял, что она от него хочет.

- Я люблю, – растолковала Мара.
- Ну так и люби. Кто тебе запрещает?
- Я хочу уйти от тебя.
- А зачем?
- Чтобы любить.
- А я что, мешаю?

Мара опустила голову. Ей показалось в эту минуту, что Димычка больше Мырзика. Мырзик хочет ее всю для себя, чтобы больше никому. А Димычка, если он не смог стать для нее всем, согласен был отойти в сторону, оберегать издали. А она, Мара, сталкивала его со своей орбиты. И он боялся не за себя. За нее.

Мара заплакала.

Разговор происходил в кафе. Мырзик находился в этом же кафе, за крайним столиком, как посторонний посетитель. Он следил со своей позиции, чтобы Димычка не увел Мару, чтобы не было никаких накладок. Все окончилось его, Мырзиковой, победой.

Потом он сказал Маре:

- У тебя голова болталась, как у раненой птицы. Мне было

тебя очень жалко.

Мара тогда подумала: где это он видел раненую птицу? Небось сам и подбил. Детдомовец.

Мара и Мырзик переехали в Москву. Перебравшись в столицу, Мара вспомнила обо мне, появилась в нашем доме и привела Мырзика. Она повсюду водила его за собой, как подтверждение своей женской власти. Ее награда. Живой знак почета. Мырзик обожал, обожествлял Мару. Все, что она говорила и делала, казалось ему гениальным, единственно возможным. Он как будто забыл на ней свои глаза, смотрел не отрываясь. В свете его любви Мара казалась красивее, ярче, значительнее, чем была на самом деле. Мырзик поставил ее на пьедестал. Она возвысилась надо всеми. Я смотрела на нее снизу вверх и тоже хотела на пьедестал.

У нас с мужем только что родилась дочь, и нам казалось, что за нами стоит самая большая правота и правда жизни. Но во вспышке их счастья моя жизнь, увешанная пеленками, показалась мне обесцвеченной. Я почувствовала: из моей правоты вытащили затычку, как из резиновой игрушки. И правота со свистом стала выходить из меня.

Мы сидели на кухне, пили чай. Мара демонстрировала нам Мырзика.

– Смотрите, рука. – Она захватывала его кисть и протягивала для обозрения.

Рука была как рука, но Мара хохотала, блестя крупными яркими зубами.

– Смотрите, ухо... – Она принималась разгребать его есенинские кудри. Мырзик выдирался. Мара покатывалась со смеху. От них так и веяло счастьем, радостным, светящимся интересом друг к другу. Счастье Мырзика было солнечным, а у Мары – лунным, отраженным. Но все равно счастье.

Внезапно Мара сдернула Мырзика с места, и они засобирались домой. Наш ребенок спал. Мы пошли их проводить.

Мара увела меня вперед и стала уговаривать, чтобы я бросила мужа. Это так хорошо, когда бросаешь мужа. Такое обновление, как будто заново родишься и заново живешь.

Я слушала Мару и думала о своей любви: мы познакомились с мужем в геологической партии, оба были свободны, и все произошло, как само собой разумеющееся. Палатки были на четверых, мы пошли обниматься ночью в тайгу и долго искали место, чтобы не болото и не муравьи. Наконец нашли ровную твердь, постелили плащ, и нас тут же осветили фары грузовика. Оказывается, мы устроились на дороге. Я шастнула, как коза, в кусты и потеряла лифчик. Утром ребята-геологи нашли, но не отдали. И когда я проводила комсомольские собрания, взывая к их комсомольской чести и совести, они коварно с задних рядов показывали мне мой лифчик. Я теряла мысль, краснела, а они именно этого и добивались.

Хорошее было время, но оно ушло. За десять лет наша любовь устала, пообычнела, как бы надела рабочую робу. Но я знала, что не начну новую жизнь, и мое будущее представлялось мне долгим и одинаковым, как степь.

Мы с мужем возвращались молча, как чужие. Наверное, и он думал о том же самом. Наш ребенок проснулся и плакал. И мне показалось, что и он оплакивает мою жизнь.

Вот тебе и Мара. Как свеча: посветила, почадила, накапала воском. А зачем?

Она раскачала во мне тоску по роковым страстям, по горячему дыханию жизни... Но впрочем, дело не во мне, а в ней.

Итак, Мара и Мырзик в Москве. В его однокомнатной квартире, в Бибирево. Бибирево – то ли Москва, то ли Калуга. Одинаковые дома наводили тоску, как дождливое лето.

Мара позвала плотника Гену. Гена обшил лоджию деревом, утеплил стены и потолок, провел паровое отопление. Образовалась еще одна комната, узкая и длинная, как кусок коридора, но все же комната. Мара поставила туда столик, на столик швейную машинку «Зингер», вдоль стены гладильную доску. И вперед... Этот путь ей был знаком и мил. Шила только тем, кто ей нравился внешне и внутренне. Кидалась в дружбу, приближала вплотную, так что листка бумаги не просунуть, а потом так же в одночасье отшивала, ссорилась. У нее была потребность в конфликте. Бесовское начало так и хлестало в ней. Все-таки она была прописана в аду.

Через год Мара обменяла Бибирево на Кутузовский проспект, купила подержанный «москвич» и японскую фотоаппаратуру «сейка». Аппаратура предназначалась Мырзику. Мара решила сделать из него фотокорреспондента, остано-

ливать мгновения – прекрасные и безобразные в зависимости от того, что надо стране. Горящий грузовик, передовик производства, первый раз в первый класс.

Мара разломала в новой квартире стены, выкроила темную комнату, это была фотолаборатория. Мара помогала Мырзику не только проявлять, но и выбирать сюжеты. Она оказалась талантлива в этой сфере, как и во всех прочих. Мырзика пригласили работать в Агентство печати «Новости», пропагандировать советский образ жизни. Мара добилась его выставки, потом добилась, что он со всеми разругался. Мырзика выгнали с работы.

Мара была как сильнодействующее лекарство с побочными действиями. С одной стороны – исцеление, с другой – слабость и рвота. Неизвестно, что лучше.

Сначала Мырзику казалось, что иначе быть не может, но однажды вдруг выяснилось: может и иначе. Он бросил Мару и ушел к другой, молодой и нежной и от него беременной, для которой он был не Мырзик, а Леонид Николаевич. С Марой он забыл, как его зовут.

Если вернуться назад в исходную точку их любви, то чувство к Маре было несравненно ярче и мощнее, чем эта новая любовь. Но с Марой у него не было перспектив. Ну, еще одна машина, дача, парники на даче. А кому? Мырзику скучно было жить для себя одного. Хотелось сына, подарить ему счастливое детство, оставить свое дело, просто сына. Мырзик был детдомовец, знал, что такое детство.

Мара попыталась остановить Мырзика, отобрав у него материальное благосостояние. Но Мырзик изловчился и не отдал. Как это ему удалось – уму непостижимо. Мара со своей магнитной бурей так заметет и закрутит, что не только «сейку» бросишь, отдашь любой парный орган: руку, ногу, глаз. Но не отдал. И «сейку» унес. И из дома выгнал, как лиса зайца. Вот тебе и Мырзик.

На работу он вернулся и завоевал весь мир. Не весь мир, а только тот, который сумел постичь своим умом. Мырзик не пропал без Мары, а даже возвысился, и это было обиднее всего.

В этот переломный момент своей жизни Мара снова появилась у меня в доме и поселилась на несколько дней. Ей было негде голову приклонить в буквальном смысле слова, негде ночевать.

Вся Москва полна знакомых, а никому не нужна. Нужна была та, победная и благополучная, а не эта – ограбленная и выгнанная. И ей, в свою очередь, не понадобились те, с обложек журналов. Захотелось прислониться к нам, обычным и простым. Мы геологи, земля нас держит, не плывет из-под ног.

Мой муж ушел ночевать к родителям, они жили ниже этажом, а Мара легла на его место. Но и в эти трагические минуты, когда человек становится выше, Мара сумела остаться собой. Она засунула в нос чеснок – у нее был насморк, а чеснок обладает антисептическим действием – и захрапе-

ла, поскольку нос был забит. Непривычные звуки и запахи выбили меня из сна. Я заснула где-то в районе трех. Но тут проснулась Мара. Она нуждалась в сочувствии, а сочувствовать может только бодрствующий человек, а не спящий.

Мара растолкала меня и поведала, чем она жертвовала ради Мырзика: Димычкой, домом, архитектурой Ленинграда... Призвала мою память: чем был Мырзик, когда она его встретила, – шестерка, подай-принеси, поди вон. А чем стал... И вот когда он чем-то стал, ему оказались не нужны свидетели прежней жизни. И какая она была дура, что поверила ему, ведь у него было все написано на лице. Он использовал ее, выжал, как лимон, и выбросил. Одну, в чужом городе.

– Вернись обратно, – посоветовала я. – Димычка будет счастлив.

Мара замолчала. Раздумывала.

Возвращаться обратно на одиннадцатый этаж, где ходит желтоглазый Саша – такой близкий, стоит только руку протянуть, и такой далекий. Как из другого времени. Из двадцать первого века. Ах, Саша, Саша, звезды мерцание, где поют твои соловьи? Что сделал с жизнью? Перестала дорожить. Раньше помыслить не могла: как бросить мужа, дом, нажитое? А после Саши все обесценилось, все по ветру, и ничего не жаль. Чем хуже, тем лучше. Мырзик так Мырзик. Она выживала Мырзиком. Но он тоже оказался сильнодействующим лекарством с побочными действиями. Вылечил,

но покалечил. Вот и сиди теперь в чужом доме с чесноком в носу. И что за участь: из одного сделала мужика, из другого фотокорреспондента. А какова плата?

– Я их создала, а они предали...

– Ты же их для себя создавала, чтобы тебе хорошо было, – уточнила я.

– А какая разница? – не поняла Мара.

– Не бескорыстно. И замкнуто. Когда человек замкнут, он, как консервы в банке, теряет витамины и становится не полезен.

– А ты что делаешь бескорыстно? – поинтересовалась Мара. – Ребенка растишь для чужого дяди?

Воспоминание о дочери, независимо от контекста, умывало мое лицо нежностью.

– Она говорит «бва» вместо «два» и «побвинься» вместо «подвинься». Я научу ее говорить правильно, научу ходить на горшок. Подготовлю в детский садик. В коллектив. А потом обеспечу ей светлое будущее.

– А почему светлым должно быть будущее, а не настоящее? – спросила Мара.

Я смотрела на нее. Соображала.

– Когда общество ничего не может предложить сегодня, оно обещает светлое будущее, – пояснила Мара. – Вешает лапшу на уши. А ты и уши развесила.

Значит, мое поколение в лапше. А старшее, которое верило в Сталина, в чем оно? Значит, мы все в дерьме, а она

в белом.

– А ты поезжай туда, – посоветовала я. – Там все такие, как ты.

– Зачем они мне? А я – им? В сорок лет. Антиквариат ценится только в комиссионках. Все. «Поезд ушел, и рельсы разобрали», как сказал светлой памяти Ленечка.

– А кто это – Ленечка? – не вспомнила я.

– Мырзик.

Мара включила настольную лампу. Я слышала, что она не спит, и тоже не спала. Мара снова что-то во мне раскачала.

Я вспомнила, что она к сорока годам уже два раза сделала себе светлое настоящее: с Димычкой в Ленинграде и с Мырзиком в Москве. Понадобится, сделает в третий раз. А мы с мужем пять лет не имели ребенка, не было жилья, жили у его родителей на голове. Теперь десять лет положим, чтобы из однокомнатной перебраться в двухкомнатную. Где-то к пятидесяти начинаешь жить по-человечески, а в пятьдесят пять тебя списывают на пенсию. Вот и считай...

Когда Мары нет, я живу хорошо. У меня, как пишут в телеграммах, здоровье, успехи в работе и счастье в личной жизни. Как только появляется Мара, я – раба. Я опутана, зависима и зашорена. И мое счастье в одном: я не знаю, КАК плохо я живу.

Потом Мара исчезает, и опять ничего. Можно жить.

На этот раз она исчезла в Крым. Море всегда выручало ее. Смыла морем слезы, подставила тело солнцу. Уходила дале-

ко в бухты и загорала голая, лежа на камнях, как ящерица. Восстанавливала оторванный хвост. У нее была способность к регенерации, как у ящерицы.

Мырзик сказал, что поезд ушел и рельсы разобрали. Это не так. Мырзик ушел, но рельсы не разобрали. Значит, должен прийти новый состав. И не какой-то товарняк, а роскошный поезд, идущий в долгую счастливую жизнь. Можно сесть на полустанке и ждать, рассчитывая на случай. Но случай подкидывает Женек и Мырзиков. Случай слеп. Надо вмешаться в судьбу и самой подготовить случай.

Саша, Мырзик – это стебли, которые качаются на ветру. Им нужна подпорка. В сорок лет хочется самой опереться на сильного. А за кем нынче сила? Кто ведет роскошный поезд? Тот, у кого в руках руль. Власть. Какой-нибудь знаменитый Мойдодыр. «Умывальников начальник и мочалок командир».

А где его взять? К Мойдодыру так просто не попасть. Надо, чтобы пропуск был выписан. А потом этот пропуск милиционер с паспортом сличает и паспорт учит наизусть: номер, серия, прописка. Когда выдан? Где выдан? А кто тебя знает, еще войдешь и стрельнешь в Мойдодыра, хотя Москва не Италия, да и Мойдодыру семьдесят годиков, кому нужен? У него уже кровь свернулась в жилах, как простокваша.

Однако цель намечена. И Мара пошла к цели, как ракета дальнего действия. Набрав в себя солнца, полностью восстановив оторванный хвост, Мара вернулась в Москву, сдерну-

ла с Мырзиковой шеи «сейку», чуть не сорвав при этом голову. Взяла нужную бумагу – остались связи. И вошла в кабинет к Мойдодыру.

Он уже знал, что его придут фотографировать.

Мара села перед ним нога на ногу, стала изучать лицо. Мойдодыр был старенький, бесплотный, высушенный кузнечик. Очки увеличивали глаза. На спине что-то топырилось под пиджаком, может, горб, может, кислородная подушка, может, приделан летательный аппарат. Лицо абстрактное, без выражения.

– Вы не могли бы снять очки? – попросила Мара.

Он снял. Положил на стол. Мара щелкнула несколько раз, но понимала: не то.

– Сделайте живое лицо, – попросила Мара.

Но где взять то, чего нет. Мара не могла поменять лицо, решила поменять ракурс. Она сначала встала на стул, щелкнула. Потом легла на пол. Потом присела на корточки. Кофта разомкнула кнопки, и Мойдодыр увидел ее груди – ровно загорелые, бежевые, торчащие, как два поросенка.

Мойдодыр забыл, когда он это видел и видел ли вообще. Он был хоть и начальник, но все же обычный человек, и его реакция была обычной: удивление. Он так удивился, что даже застоявшаяся кровь толкнулась и пошла по сосудам. Мойдодыр вспомнил, какого он пола, а чуть раньше догадывался только по имени и отчеству.

Лицо сделалось живым. Фотография получилась на уров-

не, который прежде не достигался.

Шар судьбы пошел в лузу. Только бы ничего не помешало. Но Мара об этом позаботилась, чтобы не помешало. Она закупила души двух секретарш, тем самым взяла подступы к крепости. А потом уж и саму крепость.

Мара приучала Мойдодыра к себе, и через очень короткое время ему показалось: она была всегда. Такое чувство испытываешь к грудному ребенку. Странно, что совсем недавно его не было вообще. Нигде. Но вот он родился, и кажется, что он был всегда.

У Мойдодыра в этой жизни существовало большое неудобство: возраст. И как осложнение – безразличие. Ничего не можешь, но и не хочется. Мара своей магнитной бурей разметала безразличие, как разгоняют тучи ко дню Олимпиады. Очнувшись от безразличия, Мойдодыр энергично задействовал, и через четыре месяца Мара жила в отдельной двухкомнатной квартире в кирпичном доме, в тихом центре, куда Мойдодыр мог приходить, как к себе домой.

Мара не переносила грязь, поэтому встречала его возле лифта с домашними тапочками. Переобувала. Потом закладывала Мойдодыра в ванну, отмачивала и смывала с него весь день и всю прошлую жизнь. Мойдодыр лежал в нежной пене и чувствовал: счастье – вот оно! На семидесятом году жизни. Одно только плохо – мысли о смерти. С такой жизнью, неожиданно открывшейся на старости лет, тяжело расставаться. Но он старался не думать. Как говорила мать На-

полеона, «пусть это продолжается как можно дольше», имея в виду императорство сына. И при этом вязала ему шерстяные носки на случай острова Святой Елены.

После ванны садились за стол. Стол карельской березы, тарелки – синие с белым – английский фарфор, и на фарфоре паровые фрикадельки из телятины, фарш взбивала миксером с добавлением сливок. В хрустальном стакане свекольный сок с лимоном. Свекла чистит кровь, выгоняет канцероген. А сама Мара – в халате с драконами, как японка. Гейша. Японцы понимают толк в жизни. Обед, чайная церемония. Потом еще одна церемония.

В конце жизни Мойдодыр обрел дом и женщину. Его жена – общественный деятель, для нее общественное было выше личного, делом занималась замкнутая домработница Валя, себе на уме. Сыну пятьдесят лет, сам внуков нянчит. Мойдодыр работал с утра до ночи, чтобы забыть одиночество и чтобы послужить отечеству на вверенном ему участке. И вдруг Мара. Она оказалась для него не менее важна, чем все отечество. На равных. А иногда и больше.

Мара, в свою очередь, была благодарна Мойдодыру. Благодарность – хорошая почва. На ней можно вырастить пусть не волшебные кусты любви, но вполне хорошее дерево со съедобными плодами.

Мара оказалась талантлива не только в шитье и фотографии, но и в государственной деятельности. Она была чем-то вроде маркизы Помпадур. Помпадурила.

Предыдущих – Сашу и Мырзика – Мара создавала, лепила, делала. Пусть для себя. Создавала и потребляла, но ведь и им перепало. Саша укрепился духом, плотью и надеждой. Мырзик – делом и деньгами.

Мойдодыр создавал ее самое. Как созидатель, Мара простаивала, как потребитель – торжествовала. Мойдодыра можно было потреблять горстями, не надо на охоту выходить.

Маре захотелось самостоятельной общественной деятельности. У нее было заочное педагогическое образование.

Мойдодыр устроил Мару в институт при Академии педагогических наук. Мара стала писать диссертацию, чтобы возглавить отдел, а там и весь институт. И как знать, может, и всю академию. А что? Поезд движется. Путь свободен. Министр – виртуоз.

В выходные дни Мойдодыр уезжал с семьей на дачу. У Мары появлялись паузы.

В ближайшую из таких пауз она позвала меня к себе в гости продемонстрировать новую мощь. Чтобы я походила по ее квартире, покачала лапшой на ушах.

Больше всего меня поразили просторные коридоры и светильники под потолком и на стенах. Казалось, что они из Таврического дворца. Потемкин повесил, а Мара вывезла, поскольку царицей на сегодняшний день была она.

Светильники тускло бронзовели, от них веяло временем, тайной и талантом неведомого мастера. Это был богатый дом

дорогой содержанки.

Я вспомнила свою квартиру, где потолок отстает от пола на два с половиной метра, лежит почти на голове. Я называла свою квартиру блиндаж, туда бы патефон и пластинку: «На позицию девушка...» Я вспомнила квартиру родителей моего мужа. Комсомольцы двадцатых годов, они строили это общество – жертвенно и бескорыстно. И где они живут? В коммуналке. Одну большую комнату разделили перегородкой. Получилось две кишки. И не ропщут. Они знают: Москва задыхается от нехватки жилплощади. Люди еще не выселены из подвалов. Значит, они потерпят. Подождут. А Мара получила все сразу потому, что вовремя показала загар. Значит, для одних светлое будущее. А для других светлое настоящее.

Мара увидела, что я сникла, и решила, что я завидую. Я тоже хочу быть маркизой Помпадур при Людовике и Марой при Мойдодыре, что почти одно и то же. А я всего лишь Лариса при Вите.

– В тебе знаешь чего нет? – посочувствовала Мара.

– Чего?

Мара стала подбирать слово, но оно одно. Аналога нет.

– Ты очень порядочная, – сформулировала Мара, обойдя это слово.

– Мне так удобнее, – сказала я.

– Тебе так удобнее, потому что ты прячешь за порядочностью отсутствие жизненных инициатив.

– Зато я никому не делаю плохо.

– Ни плохо, ни хорошо. Тебя нет.

Я задохнулась, как будто в меня плеснули холодной водой. Мара приняла мою паузу за точку. Решила, что тема исчерпана. Перешла к следующей. Сообщила как бы между прочим:

– А у меня диссертация почти готова. Скоро защита.

Мой муж шесть лет продирался к диссертации, как через колючую проволоку. А Мара стояла передо мной с золотой рыбкой в ладонях. Могла загадать любое желание.

– Какая тема? – спросила я, пряча под заинтересованность истинные чувства.

– Сексуальное воспитание старшеклассников, – важно сказала Мара.

Я уважительно промолчала. Наверняка в этом вопросе Мара – специалист, и почему бы ей не поделиться с подрастающим поколением.

Мара рассказывала о своей диссертации, о главе «Культура общения» не в сексуальном смысле, а в общечеловеческом. В школе ничему такому не учат. Рассчитывают на семью. Но и семья не учит. Народ поголовно невоспитан.

Мара собрала и обобщила опыт других стран, религий. Она рассказывала очень интересно. Я отвлеклась от разъедающего чувства классового неравенства. От Мары наплывали на меня гипнотические волны. Я, как рыба, шла на ее крючок.

Безо всякого перехода Мара спросила:

– А может, и тебе поменять квартиру? На двухкомнатную. Вас же трое.

Я онемела. Это была моя мечта. Мое пространство. Мое светлое настоящее.

– А можно? – спросила я, робея от одной только надежды.

– Он сейчас в Перу, – сказала Мара о Мойдодыре. – Через неделю вернется, я с ним поговорю.

Итак, червяк был проглочен целиком. Я – на крючке. Мара могла дергать меня за губу в любом направлении. Так она и сделала.

В течение недели Мара несколько раз приезжала ко мне домой. Она хорошо почистила мою библиотеку. Библиотека – сильно сказано, любимые книги у нас с мужем были.

Помимо духовных ценностей, Мара вынесла из дома покой. Муж ненавидел ее, нервничал, замыкался. Мара как будто не замечала и всякий раз бросалась его целовать. Муж цепенел, переживал ее объятия с той же степенью брезгливости, как если бы на него навалился крокодил – скользкий, мерзкий и небезопасный. Он ни на секунду не верил в успех мероприятия, презирал меня за мой конформизм. Я боялась: Мара заметит, и все рухнет. Ей нужен был преданный собачий глаз, а не глаз волка, которого сколько ни корми, он все равно в лес смотрит. Я норовила увести Мару из дома, в лес. Мы жили на краю Москвы, рядом с прекрасным первозданным лесом. Когда-то здесь были дачные места.

На земле происходила весна. При входе в лес обособлен-

но стояла тоненькая верба. Почки ее были нежно-желтые, пушистые, крупные, как цыплята. Верба была похожа на де-вушку, принарядившуюся перед танцами.

Мара не могла вынести, если красота существует сама по себе. Она решила взять часть этой красоты к себе домой, поставить в вазу. Пусть служит. Я полагала, что она сорвет одну ветку. Ну две. Дереву, конечно, будет больно, но оно зальет раны соком. Забинтует корой. Восстановится.

То, что сделала Мара, до сих пор стоит у меня перед глазами. Она не обломала, а потянула вниз и к себе, содрав ремень кожи со ствола. Потом другую ветку, третью. Она пла-стала бедную вербу, сдирая с нее кожу догола. Мы отошли. Я обернулась на вербу. Она как будто вышла из гестапо, стояла растерзанная, обесчещенная, потерявшая свое растительное сознание. Вернется ли она к жизни?

Мне бы повернуться и уйти тогда, и черт с ней, с кварти-рой, с лишней комнатой. Но я знала, что если не я – то никто. Значит, надо терпеть. И я стерпела. Только спросила:

– За что ты ее так?

– Как со мной, так и я, – ответила Мара.

Подошел Женька Смолин, содрал ветку, но не аккуратно, а как получится. Потом вежливый, духовный Саша. Потом детдомовец Мырзик. Теперь старик Мойдодыр, годящийся в дедушки, со своей любовью, похожей на кровосмешение. И если можно ТАК с ней, то почему нельзя с другими – с людьми и деревьями, со всем, что попадется под руку.

Мы удалялись. Я спиной чувствовала, что верба смотрит мне вслед и думает: «Эх ты...» И я сама о себе тоже думала: «Эх ты!»

Прошла неделя. Мойдодыр вернулся. Мара молчала. Я ждала. Я не просто ждала, а существовала под высоким напряжением ожидания. Я уставала, звенел каждый нерв. Спасти меня могла только определенность. Я позвонила ей и спросила, как будто прыгнула с парашютом в черную бездну:

– Приехал?

– Приехал, – спокойно и с достоинством сказала Мара.

– Говорила?

– Говорила.

Она замолчала, как бы не понимая темы моего звонка.

– И чего? – не выдержала я.

– Ничего, – спокойно и с тем самым достоинством проговорила Мара. – Он сказал: «Ты мне надоела со своими бесчисленными поручениями. То я должен класть в больницу твоего татарина Усманова, то устраивать твою идиотку Артамонову. Отстань от меня. Дай мне спокойно умереть». И в самом деле, он же не резиновый, – доверительно закончила Мара.

Кто такой татарин Усманов, я не знала, а идиотка Артамонова – это я. Я бросила трубку и на полдня сошла с ума. Мой муж ликовал. Я получила урок. Если не уважаешь человека – не проси. Попросила, снизила нравственный критерий, унизилась – получай, что стоишь. Это твое. Все правильно.

Жизнь логична.

Я выучила данный мне урок, сделала далеко идущие выводы. А именно: не общайся с Марой. Никогда. Ни по какому вопросу. Она звонила, я тут же опускала трубку. Раздавался повторный звонок, я не подходила. В какой-то мере я трусила. Знала, что, если отзовусь, скажу «да», она вытащит меня за то «да» из норы, напустит гипнотические волны, засосет своим электромагнитом, и я снова, пища, как кролик, поползу в ее пасть.

Пусть она живет своей жизнью. А я своей. Поэт Вознесенский однажды написал: «Мы родились не выживать, а спидометры выжимать». Так вот, я ничего не выжимаю. Я – по принципу: тише едешь – дальше будешь. Вот только вопрос: дальше от чего? От начала пути или от цели, к которой идешь?

Да и какова она, моя цель?

Прошло пять лет.

В моей стране ничего не происходило. Тишайший Леонид Ильич Брежнев, напуганный Пражской весной, постарался сделать так, чтобы ничего не менялось. Все осталось как было. Никаких перемен, никаких свежих струй. Жизнь постепенно заболачивалась, покрывалась рясой.

В моей личной жизни, как и в стране, тоже ничего не происходило. Мы по-прежнему обитали в однокомнатной квартире, хотя в нашем кооперативном доме все время шло движение: кто-то умирал, кто-то разводился, квартиры осво-

бождались, но не для нас. Надо было дать взятку председателю кооператива, но мы не знали, сколько и как это делается. Боялись обидеть.

С Марой я не общалась, но до меня доходили отзвуки ее жизни.

Мара работала в каком-то престижном учреждении при Академии наук. Это был полигон ее деятельности. Там шло непрерывное сражение, «мешались в кучу кони, люди».

Ее влияние и власть над Мойдодыром стали неограниченными. Мара делала все, что хотела: снимала с работы, назначала на должность, защищала или, наоборот, останавливала диссертации.

Мара вступила в свою вторую фазу – фазу побочного действия. От нее подкашивались ноги, к горлу подступала тошнота. Ее следовало убрать. Но сначала обезвредить. На этот подвиг пошла заведующая лабораторией Карцева. Карцева была уверена: Мойдодыр ничего не знает. Его именем нагло пользуются и тем самым ставят под удар.

Карцева позвонила Мойдодыру по вертушке, представилась, раскрыла ему глаза и повесила трубку с сознанием восстановленной справедливости.

Далее действие развивалось, как в сказке с плохим концом. Через неделю этой лаборатории не существовало. А раз нет лаборатории, значит, нет и должности, и зарплаты в триста шестьдесят рублей. И красная книжечка недействительна. И вахтер в проходной не пускает на территорию. Мара

хохотала, сверкая нарядными белыми зубами.

Куда делась профессор, коммунист Карцева? Никто не знает. Боролась она или сдалась, осознав бесполезность борьбы. Мойдодыр – высшая инстанция. Все жалобы восходили к нему. Обиделась она на Мару или почувствовала уважение перед силой... Говорят, она оформилась дворником, чтобы доработать до пенсии оставшиеся пять лет и не иметь с государственной машиной никаких отношений. Зима – чистишь снег. Осень – подметаешь листья. Все.

Жертва самоустранилась. Сотрудники испугались и притихли, забились в свои кабинеты, как в норы. Взошли подхалимы, как васильки в поле. Мара почувствовала вкус большой и полной власти. Две полоски и звездочку сверху.

Димычка тем временем встретил другую женщину, погулял с ней немного и, как порядочный человек, решил жениться. Узнав об этом, Мара сделала пару телефонных звонков, и Димычку поместили в сумасшедший дом. Там его накололи какими-то лекарствами, отчего он располнел, отупел и не хотел уже ничего.

Знакомые подарили ему сиамскую кошку. Он назвал ее Мара. Она через какое-то время родила котенка Кузю. Это и была Димычкина семья: он, Мара и Кузя. Оставлять кошек было не с кем, и когда Димычка ездил в командировки или в отпуск, то складывал котов в корзину и путешествовал вместе с ними.

Мара не пожелала отдать его другой женщине. Хватит, на-

отдавалась. Димычка не бунтовал. Смирился, как Карцева.

Но в природе существует баланс. Если суровая зима – значит, жаркое лето. И наоборот. Возмездие пришло к Маре с неожиданной стороны, в виде младшего научного сотрудника, лимитчицы Ломеевой.

Несколько слов о Ломеевой: она приехала с Урала завоевать Москву. Лимитчики – это не солдаты наполеоновской армии: пришли, ушли. Это серьезная гвардия.

Способностей у Ломеевой маловато, приходится рассчитывать не на голову, а на зад. Зад – прочный, высидит хоть три диссертации. И еще на рот: за щеками – по шаровой молнии. Выплюнет – сожжет дотла. Лучше не лезть, на пути не попадаться. Чужого ей не надо, но и своего не отдаст. Анкетные данные: пятидесятого года рождения, дочь потомственного алкоголика. Прадед и дед умерли от водки, один – дома, другой – в канаве. Отец продолжает славную традицию. Муж военнослужащий. Ребенок пионер. Сама Ломеева – член партии, морально устойчива, целеустремленна.

Если в Маре – звезды и бездны, то в Ломеевой – серость и напор. Серость и напор удобно расселись в науке. Брежневское время было их время. Их звездный час.

Мара, оголтевшая от вседозволенности, не разглядела опасного соперника, допустила роковой просчет. Она бесцеремонно высмеяла ломеевскую диссертацию, размазала по стене так, что ложкой не отскребешь. Диссертацию не утвердили. Ломеева, в свою очередь, выпустила дюжину шаровых

молний, дыхнула, как Змей Горыныч. Диссертация Мары тоже была остановлена в Высшей аттестационной комиссии.

Все в ужасе разбежались по углам, освобождая площадку для борьбы. Мара и Ломеева сошлись, как барс и Мцыри. И, «сплетясь как пара змей, обнявшись крепче двух друзей, упали разом, и во мгле бой продолжался на земле».

Умер Брежнев. Его хоронили на Красной площади. Крепкие парни, опуская гроб, разладили движение, и гроб неловко хлопнул на всю страну. Этот удар был началом нового времени.

Андропов разбудил в людях надежды, но это начало совпало с концом его жизни. Черненко на похоронах грел руки об уши. Или наоборот, согревал уши руками. Было немного непонятно – зачем его, больного и задыхающегося, похожего на кадровика в исполкоме, загнали на такой тяжелый и ответственный пост. Через год его хоронили у той же самой стены, и телевизионщики тактично отворачивали камеры от могилы. Как бы опять не грохнуло. Но колесо истории уже нельзя было повернуть вспять. Оно раскрутилось, и грянула перестройка.

Мойдодыра отправили на пенсию. Марины тылы оголились. Ломеева прижала ее к земле. Звезды на небе выстроились в неблагоприятный для Мары квадрат. Ее магнитная буря не могла, как прежде, разместить все вокруг и, не находя выхода, переместилась внутрь самой Мары. В ней взмыл рак-факел. Злокачественная опухоль взорвалась в организме на

стрессовой основе. А может, сыграл роль тот факт, что она загорала без лифчика. А это, говорят, не полезно.

Мара попала в больницу. Над ней работали два хирурга. Один стоял возле груди, другой – у ног, и они в четыре руки вырезали из Мары женщину.

После операции в ней убивали человека. Ее химили, лучили. Она ослабла. Выпали волосы. Но Мара выжила. Ненависть и жажда мести оказались сильнее, чем рак. Мара была похожа на «першинг», идущий к цели, который задержали на ремонт.

Через месяц выписалась из больницы, полуживая, как верба. Надела парик и ринулась в борьбу.

Знакомые привезли из Франции протез груди. Во Франции культ женщины – не то что у нас. Там умеют думать о женщине в любой ситуации. Протез выглядел как изящная вещица, сделанная из мягкого пластика, заполненного глицерином. Полная имитация живого тела.

Мара завязала эту скорбную поделку в батистовый носовой платочек, взяла на руки Сомса, который достался ей от мамы. Сомс был уже старый, но выглядел щенком, как всякая маленькая собачка. Последнее время Мара избегала людей и могла общаться только с любящим, благородным Сомсом. И вот так – с узелком в руке и с Сомсом на плече – Мара вошла в знакомый кабинет. Кабинет был прежний. Мойдодыр новый. Да и Мара не та. Грудь уже не покажешь. На месте груди – рубцы, один в другой, как будто рак сжал свои

челюсти.

Мара развязала перед Мойдодыром узелок и сказала:

– Вот что сделали со мной мои сотрудники.

Мойдодыр, естественно, ничего не понял и спросил:

– Что это?

Мара кратко поведала свою историю: ломеевский конфликт, рак-факел на стрессовой основе и в результате – потеря здоровья, а возможно, и жизни. Мара отдала свою жизнь в борьбе за справедливость.

Новый Мойдодыр, как и прежний, тоже был человек. Он со скрытым ужасом смотрел на Мару, на ее дрожащую собачку, на глицериновую грудь, похожую на медузу, лежащую отдельно на платочке. Его пронзила мысль о бренности всего земного. А следующим после мысли было желание, чтобы Мара ушла и забрала свои части тела. И больше не появлялась.

Человек быстро уходит и не возвращается в том случае, когда, выражаясь казенным языком, решают его вопрос.

Вопрос Мары был решен. В течение месяца диссертация прошла все инстанции. Мара защитилась с блеском.

Она стояла на защите – стройная и элегантная, как манекен, с ярким искусственным румянцем, искусственными волосами и грудью. Искусственные бриллианты, как люстры, качались под ушами. Но настоящим был блеск в глазах и блеск ума. Никому и в голову не пришло видеть жертву в этой победной талантливой женщине.

После защиты Мара почему-то позвонила мне домой. Я шла к телефону, не подозревая, что это она. Видимо, ее электромагнитные свойства ослабли и перестали воздействовать на расстоянии.

– Я стала кандидатом! – торжественно объявила Мара.

Я уже знала о ее болезни. Знала, какую цену она заплатила за эту диссертацию. Да и зачем она ей? Сорок пять лет – возраст докторских, а не кандидатских.

Видимо, в Маре сидел комплекс: она не родила, не оставила после себя плоть, пусть останется мысль, заключенная в диссертации. Она хотела оставить часть СЕБЯ.

Я тяжело вздохнула. Сказала:

– Поздравляю...

Мара уловила вымученность в моем поздравлении и бросила трубку. Наверное, я ее раздражала.

Одержав победу, а точнее, ничью, Мара утратила цель и остановилась. Рак тут же поднял голову и пополз по костям, по позвоночнику. Было все невыносимее начинать день. Мара лежала в пустой квартире и представляла себе, как в дверь раздастся звонок. Она откроет. Войдет Саша. И скажет:

– Как я устал без тебя. Я хотел обмануть судьбу, но судьбу не обманешь.

А она ответит:

– Я теперь калека.

А он скажет:

– Ты – это ты. Какая бы ты ни была. А со всеми осталь-

ными я сам калека.

Но в дверь никто не звонил.

Мара поднималась. Брала такси. Ехала на работу. У нее был теперь отдельный кабинет, а на нем табличка с надписью: «Кандидат педагогических наук Александрова М. П.». Рядом с ней, через дверь, располагался кабинет Ломеевой, и на нем была такая же табличка. Их борьба окончилась со счетом 1:1. Ломеева не уступила ни пяди своей земли. Да, она не хватает звезд с неба. Но разве все в науке гении? Скажем, взять женшневый крем, который продается в галантереях. Сколько там женшеня? 0,0001 процента. А остальное – вазелин. Так и в науке. Гений один. А остальные – вазелин. Их, остальных, – армия. Почему Ломеева не может стать в строй? Чем она хуже?

Ломеева ходила мимо кабинета Мары – молодая, вся целая, с двумя грудями пятого размера, цокала каблуками. Она цокала нарочито громко, каждый удар отдавался в голове. Маре казалось, что в ее мозги заколачивают гвозди. Мара засовывала в рот платок, чтобы не стонать от боли.

В этот период я старалась навещать ее звонками. Но Мара не любила мои звонки. Она всю жизнь в чем-то со мной соревновалась, а болезнь как бы выбила ее из борьбы за первенство.

– Что ты звонишь? – спрашивала она. – Думаешь, я не знаю, что ты звонишь? Тебе интересно: умерла я или нет? Жива, представь себе. И работаю. И люблю. И прекрасно вы-

гляжу. Я еще новую моду введу: с одной грудью. Как амазонки. Хотя ты серая. Про амазонок не слышала...

Я молчала. Я действительно мало что знаю про амазонок, кроме того, что они скакали на лошадях, стреляли из лука и для удобства снимали одну грудь.

– И еще знаешь, почему ты звонишь? – продолжала Мара. – Ты боишься рака. И тебе интересно знать, как это бывает. Как это у других. Что, нет? Ну что ты молчишь?

В данном конкретном случае мною двигало сострадание, а не любопытство, и я не люблю, когда обо мне думают хуже, чем я есть. У каждого человека есть свой идеал Я. И когда мой идеал Я занижают, я теряюсь. То ли надо кроить новый идеал, пониже и пожизне. То ли перестать общаться с теми, кто его занижает. Последнее менее хлопотно. Но Маре сейчас хуже, чем мне, и если ей хочется походить по мне ногами, пусть ходит.

– Ну ладно, – сказала я. – Голос у тебя хороший.

Мара помолчала. Потом проговорила спокойно:

– Я умираю, Лариса.

Прошел год. Саша не приехал к Маре, а приехал Димычка. Он привез себя со своей загадочной душой, деньги, обезболивающие снадобья, которые сам сочинил в своих колбах. И двух котов в корзине – Мару и Кузю. Кузя вырос, и они с матерью смотрелись как ровесники. Димычка гордился Кузей. Это было единственное существо, которое он вырастил

и поставил на ноги.

Мара нуждалась в заботе, но привыкла жить одна, и присутствие второго человека ее раздражало. Это был живой пример диалектики: единство и борьба противоположностей. Она не могла без него и не могла с ним. Срывала на нем свою безнадежность. А Димычка закрывал глаза: не вижу, не слышу.

Сомс ладил с котами, что наводило на мысль: а собака ли он вообще?

Когда наступали улучшения, начинало казаться: все обойдется. В самой глубине души Мара знала, что она не умрет. Взрываются звезды, уходят под воду материки. Но она, Мара, будет всегда.

В такие дни они ходили в театр. Однажды отправились в «Современник». Мара заснула от слабости в середине действия. В антракте люди задвигались, и пришлось проснуться. Вышли в фойе. Мара увидела себя в зеркало. Она увидела, как на нее цинично и землисто глянул рак. И именно в этот момент она поняла, что умрет. Умрет скоро. И навсегда. И это единственная правда, которую она должна себе сказать. А может, и не должна, но все равно – это единственная правда.

На второе действие не остались. Вернулись домой. В комнате посреди ковра темнел сырой кружок.

– Это твои коты! – закричала Мара и стала лупить котов полотенцем.

– Не трогай моих котов, это твоя собака, – заступился Димычка, загораживая своих зверей.

– Убирайся вместе с ними! Чтобы вами тут больше не пахло!

– Я уезжаю со «Стрелой», – обиделся Димычка.

Он сложил котов в корзину и ушел, хлопнув дверь.

Сомс подбежал к двери и сиротливо заскулил.

Мара пошла в спальню. Легла. Ни с того ни с сего в памяти всплыла та крыса из далекого детства, которая карабкалась по прутьям клетки от неумолимо подступающей воды. Всему живому свойственно карабкаться. Кто-то стоит над Марой с ведром. Вода у подбородка. Сопротивляться бессмысленно. Единственный выход – полюбить свою смерть.

Вдруг Мара увидела снотворное, которое Димычка оставил на туалетном столике. Без него он не засыпал. Мара схватила пузырек с лекарством и побежала из дома. По дороге вспомнила, что забыла надеть парик и туфли. Стояло жаркое лето. Ногам и голове было тепло. Мара бежала с голой головой, в японском халате с драконами. Прохожие оборачивались, думали, что это бежит японец.

Вокзал находился в десяти минутах от дома.

Состав был уже подан. Но еще пуст. Мара пробежала по всему составу, не пропустив ни одного вагона. Димычки нигде не было. Она медленно побрела по перрону и вдруг увидела Димычку. Он стоял против одиннадцатого вагона и смотрел в никуда. При Маре он не позволял себе ТАКОГО

лица. При ней он держался. А сейчас, оставшись один, расслабился и погрузился на самое дно вселенского одиночества. Горе делало его тяжелым. Не всплыть. Да и зачем? Что его жизнь без Мары? Она была ему нужна любая: с предательством, подлостью, получеловек – но только она. Из корзины выглядывали круглоголовые коты.

Мара хотела позвать его, но горло забила жалость. Мара продралась сквозь жалость, получился взрыд.

– Димычка! – взрыдала Мара.

Димычка обернулся. Увидел Мару. Удивился. Брови его поднялись, и лицо стало глуповатым, как все удивленные лица.

– Ты забыл лекарство!

Мара бросила флакон в корзину с котами и тут же пошла прочь, шатаясь от рыданий, как в детстве, когда не хватило пяти копеек на билет в кино. Теперь ей не хватило жизни. Не досталось почти половины. Первые сорок пять лет – только разминка, первая попытка перед прыжком. А впереди прыжок – рекорд. Впереди главная жизнь, в которой у нее будет только ОДИН мужчина – желанный, как Саша, верный, как Димычка, и всемогущий, как Мойдодыр. С этим ОДНИМ она родит здорового красивого ребенка и воспитает его для светлого настоящего и будущего. Сейчас это уже можно. Время другое. И она другая. А надо уходить. Все кончилось, не успев начаться. А ТАМ – что? А если ничего? Значит, все... Навсегда. Навсегда...

Могилу после себя Мара не оставила. Она подозревала, что к ней никто не придет, и решила последнее слово оставить за собой. Это «я не хочу, чтобы вы приходили». Я ТАК решила, а не вы.

Мара завещала Димычке развеять ее прах в Ленинграде. Димычка не знал, как это делается. Мой муж объяснил: лучше всего с вертолета. Но где взять вертолет?

Димычка увез с собой урну, похожую на футбольный кубок. В один прекрасный день он ссыпал прах в полиэтиленовый пакет. Сел в речной трамвайчик и поплыл по Неве.

Осень стояла теплая, ласковая. Солнце работало без летнего молодого максимализма. Летний ветерок отдувал волосы со лба. И пепел, как казалось Димычке, летел легко и беззлобно.

Димычка рассеивал Мару, ее любовь, и талант, и электромагнитные бури. А люди на палубе стояли и думали, что он солит, вернее, перчит воду.

Но все это было позже.

А тогда она шла по перрону и плакала, провожая меня, вербу, Ломееву, Женьку Смолина, Мырзика, все свои беды, потому что даже это – жизнь.

Мара вышла в город. Перед вокзалом росла липа. Ее листья были тяжелые от пыли и казались серебряными. По площади ходили трамваи, на такси выстраивались часовые очереди. Липа стояла среди лязга, машинной гари, человеческо-

го нетерпения.

А такая же, ну пусть чуть-чуть другая, но тоже липа растет в лесу. Под ней травка, зверьки, земляника. Над ней чистое небо. Рядом другие деревья, себе подобные, шумят ветерками на вольном ветру. Переговариваются.

Почему так бывает? Одна тут, другая там. Ну почему? Почему?

«А»...

Чистый лист. Я пишу: Александрова Марла Петровна. И обвожу рамкой. Памятника у нее нет. Пусть будет здесь. В моей записной книжке. Среди моих живых.

Иногда она мне снится, и тогда я думаю о ней каждый день, мысленно с ней разговариваю, и у меня странное чувство, будто мы недоспорили и продолжаем наш спор. И еще одно чувство – вины. Я перед ней виновата. В чем? Не знаю. А может, и знаю.

Я живу дальше, но все время оборачиваюсь назад, и мне кажется, что я иду с вывороченной шеей.

Паша и Павлуша

Паша был лыс, голова – как кабачок. Но красота для мужчины имеет значение только в Испании. А у нас, в средней полосе, ценятся другие качества. Эти другие качества были ярко представлены в Паше, и при первом, даже поверхностном взгляде становилось очевидно, что Паша – хороший человек.

Сейчас принято говорить: хороший человек – не профессия. И еще принято считать, что хороший – синоним посредственного, серого. Никаких тебе противоречий, свойственных сложной личности, где должны быть намешаны звезды и пропасти, всяческая высота со всяческим подонством. В Паше не было ни подонства, ни пропастей. Он окончил педагогический институт, «дефак» – отделение для дефективных детей. Раз есть умственно отсталые дети, стало быть, существуют и школы для них и должны быть педагоги.

Платили лучше, чем в обычных школах. Двадцать процентов надбавки. Но Паша работал в ШД (школа дураков) не из-за повышенных благ. Он любил этих детей. Чувствовал с ними внутреннее родство. Они были цельны, приближены к природе, как зверьки, открыто выражали свои чувства. Подходили к Паше, гладили его по руке и по лицу и говорили: «Ты хороший». Что думали, то и говорили. Они были доверчивы безгранично, им и в голову не приходило, что их

обидят или обманут. А когда все же обижали или обманывали – реагировали бурно, протестовали криком и слезами. Но очень скоро забывали. У них как бы не работал регулятор, закрепляющий эмоции. Сейчас плачет, через секунду забыл, и только слеза висит на щеке.

Паша учил их простейшим вещам: отличать копейку от пуговицы; объяснял, зачем копейка, а зачем пуговица и как ими пользоваться в дальнейшей жизни. Из группы ГО (глубоко отсталых) Паша вытаскивал в жизнь совершенно адаптированных людей. Мальчики служили в армии, девочки работали в швейном производстве. Одна из них, Валя Тюрина, оказалась тихой, исполнительницей передовицей производства. Ее даже решили выдвинуть в депутаты, но при сборе документов выяснилось, что она из «шэдэшниц», и Валина карьера была приостановлена.

Паша тянул своих детей так, что жилы трещали, ничего не пускал на самотек. Иначе было невозможно. Это в обычной школе: запустил машину – и крутится. А здесь ничего крутиться не будет. Остановится.

В семидесятом году, когда Паша пришел работать, в школе было пятнадцать человек. А в восьмидесятом – сто. Процент больных детей рос. Причин было несколько: плохая наследственность, поздние отцы, но главная причина – алкоголизм. «Винные дети». Эти дети вырастали, женились и рожали больных детей. В школе учились уже дети детей. Второе поколение неполноценных.

Паша прорастал своими учениками и никогда не отключался полностью. Что бы ни происходило в его жизни – театр, застолье, свидания, – помнил. Не то чтобы думал неотступно. Но это было в нем. И походило на плохо закрывающуюся форточку в доме: постоянно отходит и сквозит. По этой причине Паша никогда не смеялся громко, не хватал жизнь пригоршнями. А так: возьмет со стола жизни кусочек, поддержит, понюхает да и положит обратно. Аппетита нет.

Жил Паша в коммуналке, но в центре. Мама получила эту комнату от работы еще до войны. Комната большая, сорок восемь метров, с тремя окнами. Сейчас из нее выкроили бы трехкомнатную квартиру. Когда-то жили вчетвером: папа, мама, старшая сестра и Паша. Паша ездил вокруг стола на велосипеде. Потом сестра выросла, вышла замуж и построила кооператив в Ясенево. Мама умерла. Болела долго и уже не хотела жить, но, когда подошел ее час, выяснилось, что все-таки очень хотела. Папу забрала к себе сестра. И остался Паша один в большой и пустоватой комнате. Квартира располагалась на последнем этаже, крыша протекала, на потолке было постоянное большое и неопрятное пятно.

Соседи в квартире поменялись несколько раз. Из прежних осталась только Крашенная, с которой не очень ладила мама. Но мамы нет. Крашеной – под восемьдесят, а Паше – под сорок. Быстро идет время.

Паша был не женат. Ему нравились девушки красивые и смелые. Но красивым и смелым нравились другие мужчины.

Эти другие жили не в коммуналках, работали не в ШД и являлись полной противоположностью Паше – пастырю сумеречных душ. Красивым и смелым нравились такие, как Павлуша.

Несколько слов о Павлуше. Паша и Павлуша дружили с шестого класса, с тринадцати лет, обоих звали Павлами, и, чтобы не путать, одного окликали – Паша, другого – Павлуша. Так и пошло, и осталось на всю жизнь. Павлуша был красивым ребенком, потом красивым юношей, а впоследствии красивым мужчиной. У него были черные перепутанные волосы, как у сицилийца, ярко-синие глаза и короткие, будто подстриженные зубы. Вообще иметь такие зубы некрасиво. Но у Павлуши этот недостаток выглядел как достоинство, добавляя к его облику отсвет детскости. Павлуше все сходило с рук. Ну что с него возьмешь? Большой ребенок.

Они дружили с упоением. В Паше было то, чего не было в Павлуше, и наоборот. И они дополняли друг друга, как, например, сладость и кислота в антоновском яблоке. После школы вместе подали документы в педагогический. Поступок был один, но причины разные. Паша хотел быть педагогом, а Павлуша боялся конкурса в других вузах. В педагогическом предпочтение отдавалось мальчикам. Детей Павлуша не любил, называл их «пыль населения». Не то чтобы совсем не любил – пусть будут, но не мешают. Он и своих-то детей не очень замечал, а тем более чужих и тем более умственно отсталых. Ему просто нужен был диплом, свидетельству-

ющий о высшем образовании, а дальше – хоть в скорняки, хоть в лифтеры. Но одно дело – лифтер с высшим образованием, другое – просто лифтер. Лифтер с образованием – это бунтарь. А просто лифтер – отбракованный жизнью человек типа пенсионера или выпускника ШД.

После института Павлуша ушел в автосервис, любил ковыряться в машинах. И любил деньги, как их там называли – «бабки». Не сами по себе бабки, а то, на что их можно обменять: красивую одежду, технику, еду, женщин и даже общение. Павлуша любил престижные общения, любил известных людей: композиторов, космонавтов. Вокруг них как бы парило облако исключительности, и, подходя близко, Павлуша тоже попадал в это облако, оно касалось его лица живительной прохладой. Павлуша любил хвастать своими знакомыми и называл их в глаза и за глаза «Алеша» и «Кеша». Алеша и Кеша действительно охотно общались с Павлушей, но только на территории станции техобслуживания. За ее пределы эта дружба не шла. И не то чтобы Павлуша им не подходил. Просто дружба формируется в определенном возрасте, в школьные и студенческие годы. А со временем в человеке что-то затвердевает, становится непластичным, и новые дружба почти не образуются или образуются с большим трудом. В дружбе, как и в антиквариате, ценится давность.

У Павлуши была прекрасная развернутая фигура человека, занимающегося спортом.

«Спорт, бизнес и секс» – вот программа среднего американца. Павлуша исповедовал эту же самую программу, уделяя внимание каждому пункту. С восемнадцати до тридцати шести лет он поменял трех жен – по шесть лет на каждую. У Павлуши была своя теория, подтвержденная практикой: любовь стоит по шесть лет, а потом иссыхает, как вода в арыке. Мусульмане подметили эту особенность любви, и по их законам через шесть лет можно купить новую жену, оставляя при себе и предыдущую, именуемую «старшая жена». Помимо любви, существует еще и жизнь, и негоже выкидывать разлюбленную женщину, как изношенный башмак. Павлуша выполнял только часть мусульманского обычая: менял жен, а прежних бросал безбожно на произвол судьбы, и они проклинали его, посылая проклятия на его кудрявую голову. Но проклятия отскакивали, как теннисный мяч от стены. Павлуша был счастлив в новой любви. О прежней не думал. А когда думалось – запрещал себе.

В автосервисе Павлуша вырос и уже возглавлял «фирму» – так он называл свое невзрачное строение, стоящее у черта на рогах, на выезде из города. Но «Алеши» и «Кеши» его не бросали, их было даже больше, чем хотелось бы. Он принимал их в своем кабинете с кофе и дорогим коньяком, разрешая посидеть в своем кресле, понажимать свои кнопки. Денег с них не брал. Как человек Дела, он любил людей Духа. Высвобождая их время, охраняя от стрессов и затрат, Павлуша тем самым служил высокому искусству и, значит, сам

был немножечко артист.

Все Павлушины жены родили ему по ребенку. У него было трое здоровых красивых детей: пяти, десяти и пятнадцати лет.

Преимущество Павлуши перед Пашей состояло не только в женах, детях и деньгах. Главное его везение заключалось в том, что у него была жива мама – Таисия Леонидовна. Со-
кращенно – Тася.

Когда-то до войны и в послевоенное время, то есть в сороковых и пятидесятых годах, Тася была очень красивой женщиной стиля кошки – с треугольным личиком и большими рысьими глазами. Ее обожал и муж, и все вокруг, и у Таси образовались привычки красивой обожаемой женщины. Потом она перестала быть красивой и обожаемой, а привычки остались.

Павлушин папа умер довольно рано, в шестьдесят лет, и по своей вине. У него случился ночью инфаркт, и он постеснялся разбудить и тем самым обеспокоить свою жену. Решил потерпеть до утра, но недотерпел. Умер. Тася проснулась от его хрипов, увидела, что муж умирает, и в ужасе закричала: «Зайчик, куда же ты?»

«Зайчик» погрозил ей пальцем: дескать, тише, разбудишь соседей. Он был на редкость деликатным человеком и даже в последнюю минуту думал о других.

Когда умер «Зайчик», Тася осталась на мели. У нее не оказалось своего дела – она всю жизнь была профессиональ-

ной красавицей, внуки росли на стороне. Никаких отвлекающих от старости обстоятельств. Остался только Павлуша. И он стал для нее всем. Свои нерастроченные силы Тася обрушила на сына и требовала того же взамен. Павлуша называл это «террор любовью». Павлуша существовал в обстановке террора, обязан был отчитываться в каждом шаге, не иметь ни тайных друзей, ни своих отдельных мыслей. Жены проходили через жесткий многослойный Тасин фильтр и в конце концов проваливались. Тасю устроила бы такая жена, которую Павлуша не любил. Тогда вся Павлушина любовь досталась бы ей, Тасе. Она хотела владеть своим сыном безраздельно и вместе с тем хотела для него счастья. То есть она хотела совместить несовместимое.

Первый раз Павлуша разводился мучительно и даже нажил кожную болезнь на нервной почве. Второй раз – полнее. А третий – и вовсе легко. Все, повторяемое много раз, становится привычкой. Павлуша решил для себя больше не жениться, потому что обнаружил некую закономерность: сначала все идет по возрастающей, как самолет, набирающий высоту. Дальше, набрав высоту, этот самолет любви какое-то время идет по прямой на автопилоте. Потом что-то портится, самолет начинает терять высоту, входит в штопор и – бах!!! Взрыв. Огонь. Обгорелые души.

К тридцати шести годам Паша и Павлуша были холосты. Но Пашина земля была плодородна, вспахана, ждала зерна, чтобы тут же пустить ростки. А душа Павлуши – выжженное

поле с осколками, обломками, алиментами, мнимыми дружбами. Мама старела, усыхала душой и плотью, но жива и вечнозелена была ее любовь к сыну. Святое, немеркнувшее чувство.

Теперь вернемся к Паше.

Вернемся к нему в один из будничных солнечных июньских дней. Павлуша в этот день сидел в городе Сочи, в гостинице с красивым названием «Камелия». Павлуша любил бывать летом на море, у него были нужные связи по всей стране. А Паша ругался с директором школы Алевтиной Варфоломеевной Панасюк. Учителя звали ее Панасючкой. Алевтина любила говорить, что ее отец был француз и его звали Бартоломео, а Варфоломей – русская интерпретация заморского имени. Однако Паша подозревал, что Варфоломей был только Варфоломеем и больше никем. К французам папаша отношения не имел и вряд ли знал о существовании такой нации на земле.

Брови у Алевтины были широкие и густые. О таких бровях принято говорить: соболиные. Соболь, как известно, хищник, и Алевтина высматривала добычу цепкими глазами мелкого хищника. Она хотела зацепить и Пашу и даже высунула лапку, но Паша не дался. Алевтина сделала вид, что никакой лапки не было, ему это показалось. Алевтина была самолюбива и неглупа. И вообще Паша мирился бы с таким директором, если бы не манера Алевтины всегда торопиться по своим делам, не имеющим к школе никакого отношения.

Она постоянно что-то устраивала для своей семьи и для своих друзей: куда-то звонила, договаривалась, исчезала. А дети, врученные ей обществом, приходили в дом без хозяина, и если бы не Паша и не такие, как Паша, там все заросло бы лопухами и сорняками, как в запущенном огороде.

В школе учились домашние дети и детдомовские. Раньше, года три назад, они приходили в школу и после уроков расходились по домам. Одни шли в родительский дом, другие — в государственный, как раньше говорили, «казенный» дом. Но все были на равных: приходили и уходили. В последнее время детский дом полностью переместил своих питомцев в школу, она превратилась во «вспомогательную» школу-интернат. И теперь они в первой половине дня учились в одном отсеке, а потом переходили в другой. Там стояли их койки, размещалась их столовая. И они уже не покидали школу ни на праздники, ни на каникулы. Разница между домашними и казенными обнажилась. Вылезли несправедливость и горечь. Дети ощущали их сквозь толщу сниженного интеллекта. Паша стал требовать от Панасючки прежних порядков. Панасючка объяснила, что не она завела новые и не ей их отменять. При этом она набрала номер и попросила у какого-то Володи пятьдесят банок говяжьей тушенки, поскольку начинался дачный сезон.

Паша взял себе за правило встречать вместе с интернатскими детьми Новый год. Они задолго начинали клеить на уроках труда елочные игрушки, а потом вывешивали их на

елку. Время шло незаметней и радостней.

В день, о котором пойдет речь, Панасючка отменила в третьем классе литературные чтения и выгнала детей убирать территорию.

Когда Паша приехал к своему уроку, то застал детей во дворе. Они стаскивали всякий хлам в одну кучу.

Паша заглянул к Панасючке и спросил: почему она отменила литературные чтения? Панасючка ответила, что чтение все равно не сделает детей умственно полноценными, пусть лучше подышат воздухом. Паша заметил, что дело не в детях, а в педагогах. Педагоги, слава богу, не дефективны и должны выполнять свою работу соответственно программе, чувству долга и своему человеческому достоинству. Панасючка внимательно выслушала и заметила, что такое въедливое буквоедство и демагогическое критиканство свойственны пенсионерам, у которых масса свободного времени. Что, если бы у Паши был «генерал», то есть генеральная идея жизни, он не обращал бы внимания на мелочи, а служил бы «генералу». Кстати, «генералом» Алевтины была дочь – красивая и хамоватая.

Алевтина продолжала свой монолог, а сама уже набирала номер. Паша не стал дожидаться, кого она позовет и что у него попросит. Он повернулся и вышел из кабинета, хлопнув дверью, вложив в этот удар весь свой протест против «панасючести». Алевтина не только не стеснялась факта халтуры, она еще и бравировала, как некоторые запьянцовские люди

браврируют количеством выпитого. Они охотно рассказывают, сколько выпили, потом сколько добавили, потом с кем подрались. То, что стыдно и надо прятать, воспевается как широта души. А потом рождаются «винные дети». Панасючесть разнообразна.

Паша хлопнул дверью так, что с потолка обвалился кусок штукатурки величиной с обеденную тарелку. На потолке неровный круг, а на столе у Панасючки – раскрошенная штукатурка. Она смела ее носовым платком – следа не осталось.

Паша вышел из школы и двинулся пешком в неопределенном направлении. Можно было бы поехать к сестре в Ясеново, но сестра начнет расспрашивать, придется поведать про Панасючку и панасючесть и как бы снова нырять в эту жижу.

Хорошо бы пойти к Павлуше, там все просто, ничего рассказывать не надо. Павлуша поставит видеокассету, Тася накормит грамотным, сбалансированным обедом. Но Павлуша в «Камелии» под молодым южным солнцем. Остается зайти в аптеку, купить успокоительные таблетки. Эти таблетки гасят печаль и тревогу. Но если бы они плохое гасили, а радостное оставляли, в них был бы смысл. А поскольку вместе с тревогой они тормозят и радость – жизнь воспринимается приглушенно, как сквозь стену. За стеной жизнь, а ты рядом, но не в ней. Как бы присутствуешь, но не участвуешь.

Когда у человека болеет душа, надо поддержать ее духовным витамином. Внедрить в себя прекрасное и таким образом создать перевес добра над злом. Паша отправился на

выставку художников. Художники выставлялись современные, сегодняшние. Паша переходил от картины к картине и думал: как все-таки много талантливых людей рассыпано по земле.

Принято считать, что все стоящее было. Или будет. Но ведь СЕГОДНЯ это тоже БЫЛО, с точки зрения потомков. И БУДЕТ, с точки зрения предков. Может быть, здесь, на стенах, уже висит классика. Но мы этого еще не знаем.

Паше нравились картины с простым сюжетом, в которых все понятно. Он любил простоту, и всякая сложность казалась ему недодуманностью. Если сложно, значит, не продумано до конца. Это относилось и к картинам, и к книгам, и к жизни. Ему часто приходилось слышать, что жизнь сложна. Но сложности возникают у тех, кто врет и запутывается. Или у таких, кто норовит проехаться за чужой счет, а его не провозят да еще пытаются столкнуть. Тогда жизнь становится сложна, а порой и невыносима. У Панасючки все сложно, потому что она одно подменяет другим: дело – видимостью дела, любовь – видимостью любви. У Павлушиной мамы сложность в старости и одиночестве. Вот тут надо хорошенько допридумывать, чтобы научиться не цепляться за ноги ближних и не тащить их вниз. Найти свое место. Быть необходимой и не мешать.

Павлушина сложность в жадности и всеядности. Все идет ему в руки: деньги, женщины, солнце и море, и трудно сказать «хватит». Если не сказать вовремя «хватит», есть опас-

ность обожраться. А обожраться – так же мучительно, как голодать. Голодать даже полезнее.

Паша ходил от картины к картине, смотрел, размышлял. У каждого художника – свой «генерал». У одного – Любовь, Красота и Женщина спасут мир. У другого – вера в бессмертие Духа. От головы в небо идут световые столбы. Человек – часть космоса и связан с космосом. Третий художник изводил себя познанием смысла жизни. На картине – дом со многими окнами. Окна – карты. Значит, жизнь – игра. На фоне дома – большой примус. Значит, жизнь – горение или испытание. Жить – значит медленно жариться на огне. Есть о чем подумать. Паша хотел было сосредоточиться, но в этот момент увидел ее. Она переходила от картины к картине, сунув руки в карманы длинной вязаной кофты. Народу битком, а она существовала так, будто никого вокруг – одинока, независима. Длинная, какая-то халдистая юбка, длинная черная кофта с оттянутыми карманами; вид то ли домашний, то ли супермодный. Паша в этом плохо разбирался. Белый батистовый ворот блузы возле нежно пламенеющих щек. Так могла выглядеть поэтесса-декадентка двадцатых годов: та же наполненность, самоценность, никому не принадлежность. Она стояла и ходила, и рядом с ней, вокруг нее перемещалась ее судьба, или, как говорят индусы, карма.

Впоследствии выяснилось, что ее зовут Марина.

Несколько слов о Марине. Ей тридцать два года. Возраст проб и ошибок. Очередная «ошибка» повернулась и ушла,

вернее, ушел. А еще вернее, сел в машину и уехал. Марина не очень им дорожила. Он был кем-то вроде кучера, который вез ее от одной станции к другой, а в дороге забавлял песнями и ласками. Но ему надоело быть кучером, он бросил вожжи, соскочил с пролетки и пошел прочь, а она смотрела ему в спину. И ей стало страшно. Он ушел. Она одна на дороге, по сторонам – лес, а в лесу волки и вьюга метет. И показалось, что конечной станции, к которой она ехала, нет. Есть только дорога. И единственное живое и теплое – молодой веселый кучер с узким затылком.

Марине захотелось догнать его, схватить за рукав. Но он ушел, чтобы начать новую дорогу в новом качестве. Она не поверила. Позвонила на работу. Он был вежлив и доброжелателен. Его уже ничто не цепляло, все стало все равно. Марина поняла: он свободен от нее и теперь будет мстить вежливостью и доброжелательностью. Марина перестала есть, спать, появилась сухость во рту. Районная врачиха напугала, что может возникнуть диабет на стрессовой основе. Районные врачи и не такого напророчат, ну а вдруг... Марина поняла, что надо спасать себя. А как? Подруги советуют: клин – клином. А где взять этот новый клин? «Кучер» занимал все ее время. Был вроде и не важен, а обнимал ее жизнь, как атмосфера. А теперь его нет – и нечем дышать. Марина заметила, что сзади как пришитый ходит человек с голой головой, в костюмчике от «Руслана». Может быть, на какое-то время посадить его на козлы. Пусть везет дальше. А то задох-

нешься и действительно помрешь в этой обесмыслившейся жизни. И не пожалеешь ни о чем.

Марина обошла выставку несколько раз, но тянула время. Боялась идти домой, входить в пустую квартиру, которая еще помнит звук ЕГО шагов, стены впитали ЕГО голос. Можно пойти к подругам. Но зачем она им ТАКАЯ? И чем они могут помочь? Начнут занижать, обесценивать «кучера», чтобы утрата казалась незначительной. Но что они могут знать? В несчастье человек одинок. Помочь мог только «кучер». Но ему интереснее в другом месте. Поразительное свойство человека двадцатого века. Сейчас любил, весь звенел от страсти. Потом разлюбил, развернулся и ушел. А ты хоть живи, хоть сдохни – твое личное дело. В девятнадцатом веке за такие вещи убивали, стрелялись на дуэли. А сейчас это называется «личная жизнь», а в личную жизнь лезть некорректно. Только плохо воспитанные люди лезут в чужую личную жизнь. Значит, ходи и выживай сам. Или не выживай. Как получится.

Марина глядела на картину с примусом и составляла схему выживания: выйти замуж, научиться водить машину, путешествовать по стране. объехать нашу страну – все равно что путешествовать по всему миру. Каждая союзная республика имеет свой аналог: Молдавия – Италия, та же языковая группа. Грузия – Испания, Азербайджан – Турция. Так что можно, не выезжая из Союза, побывать в Италии, в Испании и в Турции.

А этот гологоловый человек за спиной будет сменять ее за рулем, останавливаться на дорогах и покупать абрикосы ведрами. Витамины и впечатления. Это лучше, чем запереться в своей квартире, перекипать в ревности и тоске.

Марина пошла в другой зал. Паша обреченно двинулся следом. Она остановилась и прямо посмотрела в его просторные серые глаза. Паша встретил ее взгляд с решимостью фанатика.

– Что вы за мной ходите? – спросила Марина.

– Мне это нравится, – ответил Паша с той же решимостью.

– А мне нет.

– К сожалению, я ничем не смогу вам помочь. Я все равно буду за вами ходить.

Марина двинулась куда-то в угол.

– Вы куда? – удивился Паша.

– На выход.

– А выход там. – Паша показал в противоположную сторону.

– Не может быть, – не поверила Марина. И вдруг подумала: если она права и дверь действительно в углу, то в ее жизни все устроится, а если нет... – Давайте поспорим, – неожиданно предложила она.

– На что? – удивился Паша.

– На что хотите.

Паша задумался.

– А зачем спорить? Я и так вам все отдам, – серьезно ска-

зал он.

– А что у вас есть, чтобы отдать?

– Фамилия. Рука. Сердце.

Марина стояла и не двигалась с места. Стояла его судьба, оттягивая кулачками карманы кофты. И Паша, глядя на нее, понимал, что многолетний поиск завершен. Его Жизнь додумана до конца, а значит, талантлива.

Паша возвращался домой рано утром. Метро еще не работало. Такси не попадалось. Паша пошел пешком.

Возле кинотеатра на перекрестке дежурил милиционер.

– Сколько времени? – громко крикнул Паша. Он забыл у Марины часы.

– Пять! – громко крикнул милиционер.

Они кричали в пустом городе, это было впервые в жизни. Какое потрясающее, непознанное время суток – пять утра! Оно протекает мимо людей. А он его открыл.

Паша шел – Первооткрыватель. Еще никто и никогда не чувствовал так, как он. Он – Первый. Ни у кого не было такой Марины. Марина занималась, или, как она сама говорила, ковырялась в девятнадцатом веке и ориентировалась в нем лучше, чем в современности. Ее современность была ТАМ. И Паше казалось, что он и ТОГДА ее знал. А потом они потерялись и только теперь встретились. А ведь могли и не встретиться. Паша остановился. Ему захотелось вернуться, чтобы увидеть лицо Марины. Он уже скучал по ней. Он

тосковал по ней всегда, еще до того, как узнал. Его тоска была глубинной, как вечная мерзлота. Он решил повернуть обратно. Но заставил себя идти дальше. Паша хотел, чтобы она выпалась, отдохнула. Чтобы ей было хорошо. Любовь бывает двух видов: одна для себя, как у Таси. Такая любовь предполагает полное обладание объектом, независимо от того, нравится это объекту или нет. А другая – для объекта любви, часто даже в ущерб себе. Паша любил Марину для Марины.

Человек мерит всех собой, как говорят, на свой аршин. Он не сомневался, что и Марина – Первооткрыватель и испытывает то же самое, что и он. А это значит, будут дети – девочка, мальчик и мальчик. Один за другим, трое подряд. Потекут дни, в которых они будут заняты каждый своим делом: Паша – школой, Марина – девятнадцатым веком. Долгие вечера, в которых они сплетут свои души, потом ночи, в которых они сплетут тела. И так пройдут двадцать, тридцать и сорок лет. Когда все время рядом – перемены не видны. Какая разница, две морщины или пять! Да и в этом ли дело? Надо только попросить, чтобы она никогда не выбрасывала эту кофту с оттянутыми карманами. Такой он увидел ее впервые, такой она и останется. Можно иногда и поссориться – пошуметь ветками, сыпануть дождем. А потом опять выйдет солнце. Самое главное – чтобы с НЕЙ. Когда-нибудь они умрут. Но это будут уже не они. Они останутся в детях, внуках и не прервутся никогда. Она напишет свою диссертацию.

цию. Он придумает педагогическое пособие для ГО, у него есть уже кое-какие идеи и даже открытия. Они поставят свои работы на полки, и их мысли кому-нибудь пригодятся.

Паша шел по пустому городу. Жизнь представлялась ему длинной и осмысленной, полной нежности и самоотдачи.

Марина проснулась и пошла в свою контору под названием «Ателье № 18». Марина работала приемщицей. Она окончила университет, специализировалась на девятнадцатом веке, а ее подруга Викуся – на начале двадцатого. Теперь Викуся работает в ателье по ремонту мужских рубашек, спарывает старые воротнички. Марина – приемщица, специалист более широкого профиля. А университет продолжает набор и выпускает безработных. Специалистов больше, чем мест. Устраиваются только те, у кого рука. Все остальные оказываются во взвешенном состоянии. И постепенно выпадают в осадок. Выходят замуж, рожают детей, разводятся, остаются матерями-одиночками, сорок рублей алименты. Как хочешь, так и живи.

Приемщица – профессия творческая. Приходят заказчицы с журналами «Вог», «Бурда». Показывают модели Пьера Кардена, хотят, чтобы им сделали так же. Марина не моргнув глазом вызывает портниху Валю. Выходит Валя – сама как с обложки журнала «Вог», губы поблескивают, ногти посверкивают, в ушах по «Волге». Бриллианты – каждый по шесть каратов. Говорят, от прабабки достались, а там поди

проверь. Может, и от прабабки. Заказчицы робели при виде Вали, боялись рот раскрыть. А даже если бы и раскрыли, Валя не слушает. Сама все знает. Шьет как богиня. Пьер Карден – мальчик рядом с ней. Валя сошьет, да еще и ярлык приметает. Дескать, оттуда – попробуй отличи. Ну и цены, конечно, соответствующие. У Вали своя клиентура. Остальные портнихи – для плана. Работают грамотно, но традиционно. Без полета фантазии. Без учета сегодняшнего дня.

Марина подбирает Вале клиентуру. Валя бесплатно обшивает Марину. Все довольны, а иногда и счастливы. Заказчицы в процессе производственной дружбы дарят подарки – французские духи и дорогие конфеты. Деньги давать стесняются, поскольку в процессе той же дружбы узнают, что Марина читает подлинники на английском языке. Однако ей нужны именно деньги, а не конфеты, и она приспособилась в соседних магазинах производить обратный товарообмен: духи – на деньги. У нее там знакомая продавщица Рита. А в кондитерском отделе – Зоя. И вообще внутри одной, видимой жизни города текла как бы вторая, где правили Вали-Риты-Зои, и все они были тесно связаны между собой, как это говорят, круговой порукой. Вали-Риты-Зои сидели на лучших местах на премьерах, отдыхали в лучших санаториях в лучшие времена года. А где в это время находились матери-одиночки с незаконченными диссертациями по Бернарду Шоу? Где? Наверное, у себя дома загорали на балконе.

Когда выдавались свободные часы, Марина доставала Фолкнера и читала на английском. Читать в подлиннике – это не то что в переводах. Марина становилась как бы временной собеседницей Фолкнера. Существовала на его уровне. Она существовала как бы в двух социальных слоях: интеллигенции и сферы обслуживания, спокойно перемещаясь из одного слоя в другой.

Когда человеку тридцать два года, у него уже есть прошлое. А прошлое – это опыт. Опыт навязывает сравнения. Марина невольно сравнивала Пашу с «кучером» и скучала по тому, чего нет. По звуку шагов, по голосу. Стены отказывались впитывать новый голос, он отходил от стен, образуя резонанс. От резонанса болела голова. Но зато можно было спокойно снять трубку и позвонить «кучеру» на работу и окрепшим голосом сообщить о поездке на юг. На две недели.

– Одна? – легко спросил «кучер».

– Какая разница? – не ответила Марина.

– Никакой, – согласился тот.

Значит, с его точки зрения, дело не в том, кто генерирует любовь. Дело в самой любви. Чтобы она была. А кто – какая разница.

Марина положила трубку, и ей захотелось вырвать себя, как морковку из грядки, вон из этого города. Войти в большое теплое море и смыть свою временность в жизни «кучера». И вообще всякую временность.

Есть лебеди, которые любят один раз. А есть голуби, для

которых не важно, кто генерирует любовь. Марина была замыслена природой как лебедь, а жила как голубь. И от нее самой не зависело ничего. Все зависело от случая, а значит – от судьбы. А может быть, она не умела вытащить из хаоса жизни нужный билетик. Брала то, что лежало рядом.

Сегодня в ателье шли сплошняком старушки – с мужьями и без. Марина принимала заказы, потом вызывала Надю и Лиду, похожих друг на дружку, как сестры, – в платьях, туго обтягивающих животы, с шестимесячными завивками.

Марина подкладывала копирку, заполняла квитанции шапrikовой ручкой, копии отдавала старушкам. Они пытались разобраться, далеко отодвигая квитанции от глаз. Ничего не понимали, по сто раз переспрашивали. Марина объясняла тусклым голосом, они опять не понимали.

Жизнь груба. Даже из маленького ребеночка-ангелочка она делает старика, а потом и покойника. Его потрошат в морге, как кролика. Потом зашивают, сжигают. И горстка пепла. Все. Так чего же хотеть от любви? Она тоже стареет, и умирает, и превращается в горстку пепла. Плоть и дух подвержены одним законам.

Марина вспомнила Пашу. Он был лебедь, хоть и из другой пары. Не ее. Но все же лебедь – чист и постоянен. Марине хотелось спастись его чистотой, заслониться от временности, от старости. Она подвинула к себе телефон и позвонила ему на работу.

– А кто спрашивает? – поинтересовался женский голос.

– Марина.

– Какая Марина? – настаивал голос со свекровьей дотошностью.

– Он знает.

– Сейчас... – недовольно пообещал голос.

Марина ждала у трубки и недоумевала: надо же, такого – лысенького и доброго – и то не отдают. Стремящийся в брак мужчина – как космонавт, который должен прорезать все слои атмосферы и испытать на себе все перегрузки земного притяжения. Среда, как Земля, не отпускает. Паша подошел к телефону, сказал:

– Да!

В этом «да» были такая острота и стремительность, что стало ясно: прорежет все слои и выйдет на орбиту.

– Я думал, ты больше никогда не позвонишь, – сказал Паша.

– Дурак, – усмехнулась Марина.

– Что? – не расслышал Паша.

Повторить было уже невозможно, потому что тот первый «дурак» и повторенный имели разные оттенки. В первом случае это звучало как «милый», а во втором – «ты глуп».

– Ничего, – сказала Марина. – Купи хлеба.

Паша выбегал из школы после окончания уроков. Он теперь не ходил, а бегал, а точнее – летал. В вестибюле он напоролся на Олю Князеву. Именно не встретил, а напоролся, как ногой на гвоздь. Оля была детдомовская, жила стационарно.

В данную минуту она сидела на табуреточке неподалеку от двери и читала книгу. Читала невнимательно: ей было интересно, кто входит и выходит, а книгой она прикрывала истинный интерес. Возле двери шла какая-то жизнь. Играла случайность: вдруг войдет кто-то, кто решительно изменит ее жизнь. Оле исполнилось тринадцать лет. Ее физическое развитие опережало умственное, сидела почти готовая красивая девушка. Одета, как и все интернатские, ужасающе. Шерстяная кофта едко-синего, или, как говорила уборщица тетя Паша, «васюлькового», цвета. Из-под кофты – байковый халат, «бурдовый», в желтых цветах. Из-под халата – рейтузы. Тапки. Так одеваются старухи в доме для престарелых. Те, от кого это зависит, не учитывают эстетическую сторону. Одеты – и ладно. Но даже сквозь убогое оформление проступала Олина красота. Оля отставала в развитии, но не глубоко, а где-то на грани с нижней нормой. Еще чуть-чуть – и обыкновенная девочка.

Месяц назад Паша поднял ее документы и выяснил: Олю бросила в роддоме мать – студентка Князева Ирина Дмитриевна. Он стал разыскивать Ирину Дмитриевну и получил справку: проживает в городе Душанбе, на улице Новаторов, дом пять. Паша написал письмо и приложил Олину фотокарточку. Он был убежден, что Ирина Дмитриевна все эти тринадцать лет глубоко страдала и к сегодняшнему дню просто извелась от угрызений совести; что, получив письмо иглянув на чудное личико дочери, она зарыдает просветленными

слезами и явится в Москву с двумя большими среднеазиатскими дынями. Одну дыню – дочери, другую – Панасючке.

Но Ирина Дмитриевна послала ответное письмо на адрес гороно, где возмущалась мерзавским (она так и написала – «мерзавским») поведением педагога Павла Петровича Руденко, который влезает в сердце ее семьи и может разрушить ячейку общества, созданную с таким трудом. У нее муж, дети, а ошибку молодости она хотела бы забыть. У кого не бывает в молодости ошибок! Она сдала свою дочь государству, государство взяло на себя все расходы и пообещало вырастить члена общества. Пообещало – пусть выполняет. А если некоторые, чересчур «жвавые», будут совать свой нос куда не следует, то можно дать по носу. Она сейчас не такая дура, как была когда-то, и сможет за себя постоять.

Гороно переправило письмо Панасючке. Панасючка передала его Паше. Паша прочитал письмо прямо в кабинете и спросил:

– Ну что с ней, падлой, делать? – Хотя слово «падла» было совершенно не из Пашиной терминологии.

– Можно было бы на работу написать. Соберут товарищеский суд, вынесут частное определение. В общем, ничего не сделаешь... – заключила Панасючка.

Паша сунул письмо во внутренний карман пиджака. Там оно и лежало. Он о нем забыл. А сейчас, в вестибюле, вспомнил. Паша, парящий до этого момента, спустился на землю. Более того, ему как будто тяжесть положили на плечи.

Оля посмотрела на учителя долгим взглядом. Она не соблазняла его, не останавливала. Просто ее новое самоощущение заставляло ее иначе взглядывать на больших мальчиков и взрослых мужчин.

— До свидания, Оля, — сказал Паша, испытывая какую-то смутную вину оттого, что он уходит, а она остается. — Ты здесь не простудишься?

Оля покраснела от радости. С ней разговаривали отдельно от всех и о ней заботились.

Паша вышел на улицу. Светило солнце. Клейкие листочки тополей разворачивались навстречу солнцу. А за тяжелой дверью с книжкой в руках сидела ошибка молодости с руками, ногами, изысканным личиком. Ошибку можно забыть, а все остальное куда девать?

Паше стало «мерзавско» на душе. И вот всегда так: самые счастливые минуты омрачались чужой болью. Чьей-то жестокостью. Несправедливостью. Паша прошел несколько шагов по двору, потом остановился и сплюнул. Его мутило от несправедливости, и казалось, что он может выплюнуть хотя бы немножко горечи.

Павлуша уже неделю жил в Сочи, в гостинице «Камелия». Жил один, без мамы. Это было его время. Павлуша чувствовал себя как зверь, сбежавший из зоопарка: мог кувыркаться в свободе и возможных безобразиях. Однако безобразий не предвиделось. Только теннис во второй половине дня и ве-

черные купания плюс к дневным и утренним. Вместе с ним поехал коллега, обслуживающий иномарки, по кличке Тойота. Тойота был со своей женой – воспитанной девушкой в очках. При ней невозможно было рассказывать нецензурные анекдоты, приходилось заменять матерные слова на другие, приблизительные. Это обесценивало анекдот и, как казалось, саму жизнь.

Павлуша вдруг ощутил сиротство, хоть маму вызывай, хоть на работу возвращайся. Но о работе лучше не думать. Месяц назад на должность главного инженера прислали зиловца ставить все на новые рельсы. Этот зиловец ходит в кожанке, как двадцатипяти тысячник или как Бельмондо в фильме «Профессионал» – один против мафии. Только без пистолета. Того и гляди: он убьет или его убьют. Кто первый успеет.

Зиловец придумал перевести автослесарей на каждодневную работу. А раньше они работали через день – три раза в неделю по двенадцать часов. Три дня на работе, три дома. А дома у каждого гаражик с ямой и своя клиентура. Свое дело. Только вывески не хватает «Братья и К°».

Зиловец хочет забрать у автослесарей время, чтобы на себя не оставалось. Посыпались заявления об уходе. Сегодняшний автослесарь – это не вчерашний дядя Вася, вечно пьяный и в кепочке. Это тридцатилетние ребята с высшим образованием. Кандидаты наук. Что им зиловец? Они на станции вышибают по пятьсот рублей да дома столько же.

Тысяча в месяц. Павлуша, как директор, имеет двести рублей. Естественно, что Павлушу поддерживают. Естественно, он у них на дотации. Сам не брал. Давали. Там целая система. Слесарь – мастеру, мастер – выше и так далее.

Так было, так есть. Двадцать лет ехали по одним рельсам, а теперь зиловец за месяц хочет остановить этот паровоз руками. Двадцать лет приучали к безнаказанности, а теперь трясут перед носом пальцем: нехорошо. А жить на двести рублей в месяц минус алименты – это хорошо? Зиловец ходит угрюмый, как кабан, сухо здороваётся. Подозревает. А доказать не может. А Павлуша улыбается ему стриженными зубами: не пойман – не вор. Вон у Тойоты нарушение валютных операций. Вышка. И то надеется: авось пронесет. Так и ходит: под пулей и под авось. Каждый день живет как последний.

Вот Паша, друг детства, – Божий человек. Как двадцать лет назад, так и теперь. Поневоле вспомнишь народную мудрость: «Тише едешь – дальше будешь». Невесту себе нарыл, едет отдыхать с невестой.

Павлуша заранее забронировал им номер, хотя нерасписанных вместе не селят. Но Павлуша может все. В гостиницу своего двадцатипятидесятичника еще не прислали. Можно дышать.

Паша и Марина приехали утром.

Марина суховато познакомилась с Тойотой и его женой. Безучастно протянула руку Павлуше. Она не хотела быть лю-

безной, не хотела нравиться. Если им нужна высокая температура кипения страстей, пусть разводят костер, взбивают коктейль, а она постоит в сторонке и посмотрит. Марина неосознанно стеснялась Паши, его лысины, джинсов фирмы «Рила», своей к нему принадлежности. И ее холодность была чем-то вроде отстраняющего жеста: не надо спрашивать, не надо сочувствовать и вообще не надо, не надо...

Марина надела сарафан на лямках, открывающий ее бледные плечи и спину. Без косметики, без украшений, вся какая-то смытая, не зависящая от постороннего впечатления. Весь ее облик говорил: «Мне удобно, а вы как хотите...»

Паша, наоборот, был расслабленно счастлив. Он озирался по сторонам, не веря глазам своим, и спрашивал:

– Как здорово, а? Неужели может быть так здорово?

Гостиница «Камелия» стояла возле самого синего моря, так далеко от вспомогательной школы-интерната, что казалось, будто этой школы нет вообще. Есть только синее море, синее небо и нежное, во все проникающее солнце. Как его чувство к Марине.

Марина держалась автономно. Паша принимал эту манеру за аристократизм. Только халды вешаются при посторонних на мужчину, всячески демонстрируя то, что следует скрывать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.